



# 10 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (часть 4)

## Оглавление

Андрей Платонов «ЮШКА» .....	1
«Старый повар». Константин Паустовский .....	4
Богомолов Владимир «Первая любовь» .....	6
Улицкая Людмила «Бумажная победа» .....	8
Габова Елена "Не пускайте Рыжую на озеро" .....	11
Антон Чехов «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» .....	14
Леонид Андреев «Друг» .....	17
Леонид Николаевич Андреев «Баргамот и Гараська» .....	20
Кривин Феликс Давидович «Сказки с моралью» .....	26

## Андрей Платонов «ЮШКА»

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел. А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали: — Вон Юшка идет! Вон Юшка! Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку. — Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка? Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали



камешки и земляной сор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не сердчает на них. И они снова окликали старика:

— Юшка, ты правда или нет? Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой. Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, — пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали сердчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вокруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:

— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу. Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка!

— Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!» Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:

— Да что ты такой блаженный, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное? Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ. — Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно! И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой. — Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь.

— Зачем ты живешь? Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.

— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка, — мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю. — Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!

— Меня, Даша, народ любит! Даша смеялась. — У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!.. — Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое. — Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету. — По расчету они на меня сердчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат. — Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша.

— А ты ведь, отец говорил, нестарый еще! — Какой я старый!.. Я грудь с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал... По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешком в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовья сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самую Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец. В июне или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и



умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работающие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом. По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим. И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его. Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому. Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:

— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться... И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя... Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него: — Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный! — Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны...

— Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму! Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.

— Отдохни, — сказал прохожий и ушел домой пить чай. Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки. — Помер, — вздохнул столяр. — Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!.. Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство. Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича? — Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было. Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался: — Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитричем...



— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой. Кузнец помолчал. — А вы кто ему будете? — Родственница, что ль? — Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... Каждый год он приходил проводить меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проводить. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет...

— Половина полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец. Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его. Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца... С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утешать страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, забыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.

### «Старый повар». Константин Паустовский

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубашу, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать? — испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная... — прошептала Мария, накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нёс по ней листья, а с тёмного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:

— Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.

— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это всё равно.

Пойдёмте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.





Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он потрянул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — её звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.

— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.

— Аминь! — прошептал старик.

— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.

— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

— Слушайте, — сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пёс вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пёс только потряхивал ушами.

— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в чёрное окно.

— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше, всё синее, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу всё это! — крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.



— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.

— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария, — попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавиатура не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик сказал, задышав:

— Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать... имя. Имя!

— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

## Богомоллов Владимир «Первая любовь»

Рассказ

Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам жесткой, холодной и сырой, какой была на самом деле.

Мы встречались уже полгода - с тех пор, как она прибыла в наш полк. Мне было девятнадцать, а ей - восемнадцать лет.

Мы встречались тайком: командир роты и санитарка. И никто не знал о нашей любви и о том, что нас уже трое...

- Я чувствую, это мальчик! - шепотом в десятый раз уверяла она. Ей страшно хотелось мне угодить: - И весь в тебя!

- В крайнем случае согласен и на девочку. И пусть будет похожа на тебя! думая совсем о другом, прошептал я.

Метрах в пятистах впереди, в блиндажах и прямо в окопах, спали бойцы и сержанты моей роты. Еще дальше, за линией боевого охранения, освещаемой редкими вспышками немецких ракет, затаилась скрытая темнотой высота 162.

На рассвете моей роте предстояло совершить то, что неделю назад не смогла сделать рота штрафников - захватить высоту. Об этом в батальоне пока знало только пятеро офицеров, те, кого вечером вызвал в штабную землянку майор, командир полка. Ознакомив нас с приказом, он повторил мне:

- ...Значит, помни: сыграют "катюши", зеленые ракеты, и ты пойдешь... Соседи тоже поднимутся, но высоту будешь брать ты!

...Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и, целуя ее, я не мог не думать о предстоящем бое. Но еще более меня волновала ее судьба, и я мучительно соображал: что же делать?

- ...Я должна теперь спать за двоих, - меж тем шептала она окающим певучим говорком. - Знаешь, по ночам мне часто кажется, что наступит утро, и все это кончится. И окопы, и кровь, и смерть... Третий год уже - ведь не может же она продолжаться вечно?.. Представляешь: утро, всходит солнышко, а войны нет, совсем нет.

- Я пойду сейчас к майору! - Высвободив руку из-под ее головы, я решительно поднялся: - Я ему все расскажу, все! Пусть тебя отправят домой. Сегодня же!

- Да ты что? - привстав, она поймала меня за рукав и с силой притянула к себе. - Ложись!.. Ну какой же ты дурень!.. Да майор с тебя шкуру спустит!



И, подражая низкому, грубоватому голосу командира полка, натужным шепотом медленно забасила:

- Сожительство с подчиненными не повышает боеспособность части, а командиры теряют авторитет. Узнаю - выгоню любого! С такой характеристикой, что и на порядочную гауптвахту не примут... Выиграйте войну и любите кого хотите и сколько хотите. А сейчас - запрещаю!..

Голос у нее сорвался, а она, довольная, откинулась навзничь и смеялась беззвучно, - чтобы нас не услышали.

Да, я знал, что мне не поздоровится. Майор был человеком самых строгих правил, убежденным, что на войне женщинам не место, а любви - тем более.

- А я все равно к нему пойду!

- Тихо! - Она прижалась лицом к моей щеке и после небольшой паузы, вздохнув, зашептала: - Я все сделаю сама! Я уже продумала. Отцом ребенка будешь не ты!

- Не я?! - Меня бросило в жар. - То есть как не я?

- Ну какой же ты глупыш! - весело удивилась она. - Нет, не дай бог, чтобы он был похож на тебя!.. Понимаешь, в документах и вообще отцом будешь ты. А сейчас я скажу на другого!

Она была так по-детски простодушна и правдива, что подобная хитрость поразила меня. - На кого же ты скажешь?

- На кого-нибудь из убитых. Ну, хотя бы на Байкова.

- Нет, убитых не трогай.

- Тогда... на Киндяева.

Старшина Киндяев, красивый беспутный малый, был выпивоха и вор, отправленный недавно в штрафную.

Растроганный, я откинул полу шинели и рывком привлек ее к себе.

- Тихо! - Она испуганно уперлась кулачками мне в грудь. - Ты раздавишь нас! (Она уже начала говорить о себе во множественном числе и по-ребячьи радовалась при этом.) Глупыш ты мой!.. Нет, это твое счастье, что ты меня встретил. Со мной не пропадешь!

Она смеялась задорно и беззаботно, а мне было совсем не до смеха.

- Слушай, ты должна пойти к майору сейчас же!

- Ночью?.. Да ты что?!

- Я тебя провожу! Объяснишь ему и скажи, что тебе плохо, что ты больше не можешь!

- Но это ж неправда!

- Я прошу тебя!.. Как ты будешь?.. Ты должна уехать! Ты пойми... а вдруг... А если завтра в бой?

- В бой? - Она вмиг насторожилась, очевидно все поняв. - Нет, это правда?

- Да.

Некоторое время она лежала молча. По ее дыханию - такому знакомому - я почувствовал, что она взволнована.

- Что ж... от боев не бегают. Да и не убежишь... Все равно, пока меня комиссуют и будет приказ по дивизии, пройдет несколько дней... Я пойду к майору завтра же. Решено?

Я молчал, силясь что-либо придумать и не зная, что ей сказать.

- Думаешь, мне легко к нему идти? - вдруг прошептала она. - Да легче умереть!.. Сколько раз он мне говорил: "Смотри, будь умницей!"... А я... А еще комсомолка...

Всхлипнув, она отвернулась и, уткнув лицо в рукав шинели, вся сотрясаясь, беззвучно заплакала. Я с силой обнял ее и молча целовал маленькие губы, лоб, соленые от слез глаза.

- Пусти, я пойду, - отстраняя меня, еле слышно вымолвила она. - Ты проводишь?..

...Мы спустились в темную, сырую балку, где помешался батальонный медпункт, и я поддерживал ее сзади за талию, чуть начавшую полнеть. Я поддерживал ее обеими руками, страховал каждый ее шаг. Чтобы она не оступилась, не оскользнулась, не упала. словно я мог уберечь ее, оградить от войны, от боя на заре, где ей предстояло бегать, падать и перетаскивать на себе раненых...

\*\*\*

С тех пор прошло пятнадцать лет, но я помню все так, будто это было вчера.

На рассвете сыграли "катюши", неистово били минометы и дивизионная артиллерия, взлетели зеленые ракеты...



А когда взошло солнце, я с остатками роты ворвался на высоту. Спустя полчаса в немецкой добротной траншее командир полка и еще кто-то, поздравляя, обнимали меня и жали мне руки. А я стоял, как столб, как пень, ничего не чувствуя, не видя и не слыша.

Солнце... если б я мог загнать его назад, за горизонт! Если б я мог вернуть рассвет!.. Ведь всего два часа назад нас было трое...

Но оно поднималось медленно, неумолимо, я стоял на высоте, а она... она осталась там, позади, где уже лазали бойцы похоронной команды...

И никто, никто и не подозревал, кем она была для меня и что нас было трое...

1958 г.

## Улицкая Людмила «Бумажная победа»

Когда солнце растопило черный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья - ветошь, кости, битое стекло, - и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплетчиков. Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение.

Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой.

Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать.

Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец погиб на войне: у него отца не было вообще. Все это, вместе взятое, делало Геню очень несчастным человеком.

Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи.

На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на лодыжках тугими колбасками. Старуха из седьмой квартиры с помощью внучки вытащила под окно стул и села на солнце, запрокинув лицо.

И воздух, и земля - все было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой.

Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно трогая лапами мокрую землю, наискосок переходила двор.

Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. Кошка, изогнувшись, прыгнула назад. Геня вздрогнул - брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери.

Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный стишок:

- Генька хромой, сопли рекой!

Он оглянулся: кидался Колька Ключевин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались, - враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр.

Геня кинулся к своей двери - с лестницы уже спускалась его бабушка, крохотная бабушка в бурой шляпке с вечнозелеными и вечноголубыми цветами над ухом. Они собирались на прогулку на Миусский скверик. Мертвая потерянная лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у нее на плече.

...Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом.

- Почему? Почему они его всегда обижают? - горьким шепотом спросила, наконец, бабушка.

- Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения, ответила мать.

- Ты с ума сошла, - испугалась бабушка, - это же не дети, это бандиты.





- Я не вижу другого выхода,- хмуро отозвалась мать.- Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще устроить детский праздник.

- Это бандиты и воры. Они же весь дом вынесут,- сопротивлялась бабушка.

- У тебя есть что красть?- холодно спросила мать.

Старушка промолчала.

- Твои старые ботинки никому не нужны.

- При чем тут ботинки?..- тоскливо вздохнула бабушка.- Мальчика жалко.

Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро отточенная трава покрыла засоренный двор, и все население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался чистым и зеленым.

Ребята с утра до вечера играли в лапту. Заборы покрылись меловыми и угольными стрелами - это "разбойники", убегая от "казаков", оставляли свои знаки.

Геня уже третью неделю ходил в школу. Мать с бабушкой переглядывались. Бабушка, которая была суеверна, сплевывала через плечо - боялась сглазить: обычно перерывы между болезнями длились не больше недели.

Бабушка провожала внука в школу, а к концу занятий ждала его в школьном вестибюле, наматывала на него зеленый шарф и за руку вела домой.

Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник.

- Позови из класса кого хочешь и из двора,- предложила она.

- Я никого не хочу. Не надо, мама,- попросил Геня.

- Надо,- коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться.

Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но отдельно обратилась к Айтыру:

- И ты, Женя, приходи.

Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась.

- А что? Я приду,- спокойно ответил Айтыр.

И мать пошла ставить тесто.

Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущало блестящее черное пианино - такого наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке - это было еще простительно. Но Бетховен, эта ужасная маска Бетховена! Наверняка кто-нибудь ехидно спросит: "А это твой дедушка? Или папа?"

Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась:

- Чем она тебе вдруг помешала? Ее подарила мамина учительница...- И бабушка стала рассказывать давно известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию...

К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом.

Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, веселые и непримиримые враги... Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием: он складывал из газеты корабль с парусом.

Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов, а под боком у него лежала голубовато-серая с тисненым жирафом на обложке книга. Она называлась "Веселый час", написал ее мудрец, волшебник, лучший из людей - некий М. Гершензон. Он был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось...

Геня крутил в руках недоделанный корабль и с ужасом ждал прихода гостей. Они пришли ровно в четыре, всей гурьбой. Белесые сестрички, самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. Прочие пришли без подарков.

Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми вишенками и сказала:

- Давайте выпьем за Геню - у него сегодня день рождения.



Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла "Турецкий марш". Сестрички заворуженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплчется.

Невозмутимый Айтыр ел винегрет с пирожком, а бабушка суетилась около каждого из ребят точно так же, как суетилась обычно около Генечки.

Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавиш легко бегущие звуки.

Хозяин праздника, с потными ладонями, устремил глаза в тарелку. Музыка кончилась, выпорхнула в открытое окно, лишь несколько басовых нот задержались под потолком и, помедлив, тоже уплыли вслед за остальными.

- Генечка,- вдруг сладким голосом сказала бабушка,- может, тоже поиграешь?

Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генино сердце едва не остановилось: они ненавидят его за дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть при них на пианино!

Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла:

- В другой раз. Геня сыграет в другой раз.

Бойкая Боброва Валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла:

- А он умеет?

...Мать принесла сладкий пирог. По чашкам разлили чай. В круглой вазочке лежали какие угодно конфеты: и подушечки, и карамель, и в бумажках. Колька жрал без зазрения совести и в карман успел засунуть. Сестрички сосали подушечки и наперед загадывали, какую еще взять. Боброва Валька разглаживала на острой коленке серебряную фольгу. Айтыр самым бесстыжим образом разглядывал комнату. Он все шарил и шарил глазами и, наконец, указывая на маску, спросил:

- Теть Мусь! А этот кто? Пушкин?

Мать улыбнулась и ласково ответила:

- Это Бетховен, Женя. Был такой немецкий композитор. Он был глухой, но все равно сочинял прекрасную музыку.

- Немецкий?- бдитительно переспросил Айтыр.

Но мама поспешила снять с Бетховена подозрения:

- Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма.

Бабушка уже открыла рот, чтобы рассказать, что эту маску подарила тете Мусе ее учительница, но мать строго взглянула на бабушку, и та закрыла рот.

- Хотите, я поиграю вам Бетховена?- спросила мать.

- Давайте,- согласился Айтыр, и мать снова выдвинула табурет, крутанула его и заиграла любимую Генину песню про сурка, которого почему-то всегда жалко.

Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное напряжение, в котором все это время пребывал Геня, оставило его, и впервые мелькнуло что-то вроде гордости: это его мама играет Бетховена, и никто не смеется, а все слушают и смотрят на сильные разбегающиеся руки. Мать кончила играть.

- Ну, хватит музыки. Давайте поиграем во что-нибудь. Во что вы любите играть?

- Можно в карты,- простодушно сказал Колюня.

- Давайте в фанты,- предложила мать.

Никто не знал этой игры. Айтыр у подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Лилька, девочка со сложно заплетенными косичками, всегда носила в кармане гребенку, но отдать ее не решилась - а вдруг пропадет? Айтыр положил на стол кораблик и сказал:

- Это будет мой фант.

Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку.

- Геня, сделай девочкам фанты,- попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. Геня взял лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб...

Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка... кораблик... кораблик с парусом... стакан... солонка... хлебница... рубашка...



Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука.

- И мне, и мне сделай!
- Тебе он уже сделал, бессовестная ты! Моя очередь!
- Генечка, пожалуйста, мне стакан!
- Человечка, Геня, сделай мне человечка!

Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, загибал уголки. Человек... рубашка... собака...

Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос - и никто не обратил на это внимания, даже он сам.

Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они были совершенно не злые...

Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, попросил:

- Гень, посмотри-ка, а дальше как...

Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слезы в мыльную воду.

Счастливый мальчик раздавал бумажные игрушки...

## Габова Елена "Не пускайте Рыжую на озеро"

Светка Сергеева была рыжая. Волосы у неё грубые и толстые, словно яркая медная проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжёлая коса. Мне она напоминала трос, которым удерживают на берегу большие корабли.

Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, насканивающих одна на другую. Глаза зелёные, блестящие, как лягушата.

Сидела Светка как раз посреди класса, во второй колонке. И взгляды наши нет-нет да и притягивались к этому яркому пятну.

Светку мы не любили. Именно за то, что она рыжая. Ясное дело, Рыжухой дразнили. И ещё не любили за то, что голос у неё ужасно пронзительный. Цвет Светкиных волос и её голос сливались в одно понятие: Ры-жа-я.

Выйдет она к доске, начнёт отвечать, а голос высокий-высокий. Некоторые девчонки демонстративно затыкали уши. Забыл сказать: почему-то особенно не любили Светку девчонки. Они до неё даже дотрагиваться не хотели. Если на физкультуре кому-нибудь из них выпадало делать упражнения в одной паре с Рыжухой – отказывались. А как физрук прикрикнет, то делают, но с такой брезгливой миной на лице, словно Светка прокажённая. Маринке Быковой и окрик учителя не помогал: наотрез отказывалась с Сергеевой упражняться. Физрук Быковой двойки лепил.

Светка на девчонок не обижалась – привыкла, наверно.

Слышал я, что жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. Отец от них ушёл. Я его понимал: приятно ли жить с тремя, нет, четырьмя рыжими женщинами? Мать у Светки тоже рыжая, маленького росточка. Одевались они понятно как – ведь трудно жили. Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не принимали. Наоборот, презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы. Ладно. Рыжая так Рыжая. Слишком много о ней.

Очень любили мы походы. Каждый год ходили по несколько раз. И осенью, и весной. Иногда зимой в лес выбирались. Ну, а летом говорить нечего. Летом поход был обязательно с ночёвкой.



Наше любимое загородное место было Озёл. Здесь славное озеро – длинное и не очень широкое. По одному берегу сосновый бор, по другому – луга. Мы на лугах останавливались. Палатки ставили, всё честь честью.

Мы с Женькой в походах всегда рыбачили. Тем более, в Озёле. Озеро рыбное, окуни тут брали и сорога, а ерши, так те словно в очередь выстраивались, чтобы хапнуть наживку. Всегда мы девчонкам на уху приносили. Объеденье. Хотя из-за одной ухи в походы ходи, до того вкусно.

Брали напрокат лодку – была тут небольшая лодочная станция – и плыли на середину озера. Все дни напролёт с Женькой рыбачили. А вечером... Вечером, на зорьке, самый клев, а нам половить не удавалось. Из-за Рыжухи, между прочим, из-за Светки Сергеевой.

Она с нами тоже в походы ездила. Ведь знала, что одноклассники её не любят, а всё равно ездила. Не прогонишь же.

Вечером возьмёт Светка синюю лодку и тоже на середину озера гребёт. Вокруг красота, солнышко за сосны закатывается, в воде деревья отражаются, а вода тихая-тихая, и видно, как со Светкиных вёсел срываются розовые от солнца капли.

Выгребет Светка на середину озера, вёсла в воду опустит и начинает. Выть начинает.

То есть, она пела, конечно, но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по озеру, по лугам.

Клевать у нас переставало.

Почему ей нужно было на середине озера петь – не понимаю. Может, окружающая природа вдохновляла? К тому же от воды резонанс сильный. Ей, наверно, нравилось, что её весь мир слышит. Что она пела – не берусь сказать. Жалобно, заунывно. Никогда я больше таких песен не слышал. Женька начинал ругаться. Ругался и плевал в озеро в сторону Рыжухи. А я неторопливо и хмуро сматывал удочки.

Выла Рыжуха час-полтора. Если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень удавалась, она заводила её снова и снова.

Мы вытаскивали лодку на берег и шли к одноклассникам. Нас встречали смехом.

– Хорошо воет? – спрашивал кто-нибудь.

– Заслушаешься, – коротко отвечал я.

А Женька раздражался гневной тирадой, которую я приводить тут не буду.

– Дура рыжая, – кривила губы Маринка Быкова. – И чего она с нами прётся? Выла бы себе дома.

А голос Рыжухи всё раздавался, и было в нём что-то родственное с начинающей расти травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым воздухом, в котором роились ещё не умеющие кусаться комары.

Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой по-человечески, попросить, чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. Может, она и не знала, что мешает кому-то.

В день последнего экзамена в девятом Нинка Пчелкина бросила клич:

– Кто завтра в поход?

И тут же устроила запись. Она же распределила обязанности. Девчонки закупают продукты, мальчишки добывают спальные мешки, палатки. Кассетник берет Маринка, камера хорошая у Женьки, на пленку «Кодак» скидываются все.

Женька подвалил к Рыжухе, опёрся руками о её стол и сказал:

– Рыжуха, сделай доброе дело, а?

Светка вспыхнула и насторожилась. Никто к ней с просьбами не обращался.

– Какое?

– Не ездь с нами в поход.

Рыжуха поджала бледные губы и ничего не ответила.

– Не поедешь? Не ездь, будь другом.

– Я с вами поеду, – высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, – а буду отдельно.

Вот это «отдельно» и было для нас всего опаснее. Опять отдельно от всех будет на озере выть! Опять вечерней зорьки мы не увидим.

Женька отошёл от Рыжей и прошептал мне:

– В этот поход я Рыжую не пущу. Или я буду не я.

Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже добился своего.



Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. Нас, дружных, двадцать пять душ. У наших ног тюки с палатками, рюкзаки, из которых выпирают буханки хлеба, торчат ракетки для бадминтона. У нас с Женькой ещё и удочки. По всякому поводу мы смеёмся. Экзамены позади – весело. Лето впереди – весело.

Рыжуха сидит на краю скамейки, рядом с ней – пустое пространство. Рядом с ней никто не садится.

За минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подходит Женька. Он в синем спортивном костюме «Адидаас» – стройный симпатичный малый. Выражение лица Рыжухи встревоженное, она чувствует подвох.

– Это твоя сумка? – спрашивает Женька и кивает на допотопную дерматиновую сумку, которая стоит около Рыжухи. В сумке, наверное, бутерброды с маргарином и яйца. Сверху высовывается серенький свитер, его Рыжуха взяла, видно, на случай похолодания. Я живо представил, как она в этом свитере сидит в синей лодке и портит нам рыбалку.

– Моя, – отвечает Светка.

– Алле хоп! – восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе. И вот мы слышим, как он кричит уже с причала:

– Эй, Рыжая! Вон где твоя сумочка! Слышь?

Мы глядим через борт теплохода. Женька ставит сумку на железный пол и мчится обратно. Теплоход зафырчал, за кормой забурлило. Но трап ещё не убрали, около него стоит матрос в яркой футболке и пропускает опаздывающих пассажиров.

Рыжуха сидела-сидела, потеряно глядя в пол, потом как вскочит и – к выходу. Еле успела на берег, теплоход сразу же отчалил.

Свитера, наверно, жалко стало, бутербродов.

Женька рядом со мной стоит, Светке рукой машет и орёт:

– До свиданья, Рыжая! Гудбай! Извини, нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь!

И девчонки со своих мест ей ручкой делают, кричат противными голосами:

– Прощай, подруга!

– Больше не увидимся!

– Ха-ха!

И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил.

Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. Ну, мы с Женькой, ладно, нам Светка мешала рыбу ловить. А им-то что? Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала – не даром её ни на одной фотографии нет. Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились. Ела то, что с собой из дома брала. В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее хлеб с маргарином и яйца Быкова в сторону двигала. При этом лицо у нее было такое же брезгливое, как на уроке физкультуры, когда выпадало делать упражнения с Рыжухой.

Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. Лишь на вечерней зорьке я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное. Но зато никто на озере не шумел. Клевало отлично. Женька был особенно оживлён. А мне это «что-то» мешало радоваться.

В десятый Рыжая не пошла. Классная сказала, что она поступила в музыкальное училище.

А ещё через пять лет произошла вот такая история.

В то время я начинал учиться в одном из Петербургских вузов. И познакомился с девушкой, которая взялась подковать меня, провинциала, в культурном отношении. В один прекрасный день Наташа повела меня в Маринку, на оперу.

И что же я вижу в первые минуты спектакля?

На сцене появляется золотоволосая красавица. У нее белейшая кожа! Как она величаво идёт! От всей её наружности веет благородством! Пока я ещё ничего не подозреваю, просто отмечаю про себя, что молодая женщина на сцене прямо-таки роскошная. Но когда она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот.

– Рыжуха! – ахнул я.

– Тише! – шипит на меня Наташа.

– Ты понимаешь, это Рыжуха, – шепчу, нет, кричу ей шепотом, – мы с ней в одном классе учились.





— Что ты говоришь?! — всполошилась знакомая. — Ты понимаешь, кто это? Это наша восходящая звезда!

— Как её звать?— ещё на что-то надеясь, спросил я.

— Светлана Сергеева.

Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём сердце — восторга или стыда.

После спектакля Наташа говорит:

— Может, пойдёшь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего земляка, да ещё одноклассника. Жаль, цветов не купили!

— Нет, давай в другой раз, — скромно ответил я.

Мне меньше всего хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз.

По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере.

Теперь я не говорил, что она «выла». Мой авторитет в глазах знакомой значительно подскочил. А я в своих глазах...

— Надо же! — удивлялась Наташа. — С Сергеевой в одном классе учился!

Я плохо её слушал. Думал о том, что не Светка рыжая. Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий.

## Антон Чехов «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

I

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехать.

Сначала — это было в апреле — он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив — цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с



прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыками, лейками...

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдет по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.

— Я еще в детстве чихал здесь от дыма, — сказал он, пожимая плечами, — но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

— Дым заменяет облака, когда их нет... — ответила Таня.

— А для чего нужны облака?

— В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

— Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая! — сказал он. — Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

— Да, пять лет! — вздохнула Таня. — Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, — живо заговорила она, глядя ему в лицо, — вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.

— Однако, пора спать, — сказала Таня. — Да и холодно. — Она взяла его под руку. — Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад, — и больше ничего. Штаб, полустаб, — засмеялась она, — апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в



доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, — в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану,  
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!

— Вот, брат, история... — начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. — На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло... Отчего это так?

— Право, не знаю, — сказал Коврин и засмеялся.

— Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь всё больше насчет философии?

— Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

— И не прискучает?

— Напротив, этим только я и живу.

— Ну, дай бог... — проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. — Дай бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

— Кто это привязал лошадь к яблоне? — слышался его отчаянный, душу раздирающий крик. — Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? — сказал он плачущим голосом, разводя руками. — Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он — толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

— Ну, дай бог... дай бог... — забормотал он. — Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.



## Леонид Андреев «Друг»

Когда поздней ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после колокольчика был звонкий собачий лай, в котором слышались и боязнь чужого и радость, что это идет свой. Потом доносилось шлепанье калош и скрип снимаемого крючка. Он входил и раздевался в темноте, чувствуя недалеко от себя молчаливую женскую фигуру. А колена его ласково царапали когти собаки, и горячий язык лизал застывшую руку. — Ну, что? — спрашивал заспанный голос тоном официального участия. — Ничего. Устал, — коротко отвечал Владимир Михайлович и шел в свою комнату. За ним, стуча когтями по вощеному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свет зажженной лампы наполнял комнату, взор Владимира Михайловича встречал упорный взгляд черных глаз собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И, чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад ее потешно поднимался, и хвост вертелся, как ручка у шарманки. — Друг ты мой единственный! — говорил Владимир Михайлович и гладил черную блестящую шерсть. Точно от полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила белые зубы и легонько ворчала, радостная и возбужденная. А он вздыхал, ласкал ее и

думал,

что нет больше на свете никого, кто любил бы его.

Если Владимир Михайлович возвращался рано и не уставал от работы, он садился писать, и тогда собака укладывалась комочком где-нибудь на стуле возле него, изредка открывала один черный глаз и спросонья виляла хвостом. И когда, взволнованный процессом творчества, измученный муками своих героев, задышающийся от наплыва

мыслей

и образов, он ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, она следила за ним беспокойным взглядом и сильнее виляла хвостом.

— Будем мы с тобой знамениты, Васюк? — спрашивал он собаку, и та утвердительно махала хвостом.

— Будем тогда печенку есть, ладно?

«Ладно», — отвечала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.

У Владимира Михайловича часто собирались гости. Тогда его тетка, с которой он жил, добывала у соседей посуду, поила чаем, ставя самовар за самоваром, ходила покупать

водку

и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана засаленный рубль. В накуренной комнате звучали громкие голоса. Спорили, смеялись, говорили смешные и острые вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали друг другу; советовали Владимиру Михайловичу бросить литературу и заняться другим, более выгодным делом. Одни говорили, что ему нужно лечиться, другие чокались с ним рюмками и говорили о вреде водки для его

здоровья.

Он такой больной, постоянно нервничающий. Оттого у него припадки тоски, оттого он ищет в жизни невозможного. Все говорили с ним на «ты», и в голосе их звучало участие, и они дружески звали его с собой ехать за город продолжать попойку. И когда он, веселый, кричащий больше всех и беспричинно смеющийся, уезжал, его провожали две пары глаз: серые глаза тетки, сердитые и упрекающие, и черные, беспокойно ласковые глаза собаки. Он не помнил, что он делал, когда пил и когда к утру возвращался домой, выпачканный в грязи и мелу и потерявший шляпу. Передавали ему, что во время попойки он оскорблял друзей, а дома обижал тетку, которая плакала и говорила, что не выдержит такой жизни и удавится, и мучил собаку за то, что она не идет к нему ласкаться. Когда же она, испуганная

и

дрожащая, скалила зубы, то бил ее ремнем. Наступал следующий день; все уже кончали



свою дневную работу, а он просыпался, больной и страдающий. Сердце неровно колотилось

в груди и замирало, наполняя его страхом близкой смерти, руки дрожали. За стеной, в кухне,

стучала тетка, и звук ее шагов разносился по пустой и холодной квартире. Она не заговаривала с Владимиром Михайловичем и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И он молчал, смотрел на потолок в одно давно им замеченное пятнышко и думал, что он сжигает свою жизнь, и никогда у него не будет ни славы, ни счастья. Он сознавал себя ничтожным, и слабым, и одиноким до ужаса. Бесконечный мир кишел движущимися людьми, и не было ни одного человека, который пришел бы к нему и разделил

его муки, безумно-горделивые помыслы о славе и убийственное сознание ничтожества. Дрожащей, ошибающейся рукой он хватался за холодный лоб и сжимал веки, но, как ни крепко он их сжимал, слеза просачивалась и скользила по щеке, еще сохранившей запах продажных поцелуев. А когда он опускал руку, она падала на другой лоб, шерстистый и гладкий, и затуманенный слезой взгляд встречал черные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило ее тихие вздохи. И он шептал, тронутый, утешенный:

— Друг, друг мой единственный!..

Когда он выздоравливал, к нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали советы и говорили о вреде водки. А те из друзей, кого он оскорбил пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что он не хотел им зла, но они не желали наткнуться на неприятность. Так, в борьбе с самим собой, неизвестностью и одиночеством, протекали угарные, чадные ночи и строго карающие светлые дни. И часто в пустой квартире гулко отдавались шаги тетки, и на кровати слышался шепот, похожий на вздох:

— Друг, друг мой единственный!..

И наконец она пришла, эта неуловимая слава, пришла, нежданная-негаданная, и наполнила светом и жизнью пустую квартиру. Шаги тетки тонули в топоте дружеских ног, призрак одиночества исчез, и замолк тихий шепот. Исчезла и водка, этот зловещий спутник одиноких, и Владимир Михайлович более не оскорблял ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. Еще звончее стал ее лай при поздних встречах, когда он, ее единственный друг, приходил добрый, веселый, смеющийся, и она сама научилась смеяться; верхняя губа ее приподнималась, обнажая белые зубы, и потешными складками морщился нос. Веселая, шаловливая, она начинала играть, хватала его вещи и делала вид, что хочет унести их, а когда он протягивал руки, чтобы поймать ее, подпускала его на шаг и снова убегала, и черные глаза ее искрились лукавством. Иногда он показывал собаке на тетку и кричал: «куси», и собака с притворным гневом набрасывалась на нее, тормозила ее юбку и, задыхаясь, косилась черным лукавым глазом на друга. Тонкие губы тетки кривились в суровую улыбку, она гладила заигравшуюся собаку по блестящей голове и говорила:

— Умная собака, только вот супу не любит.

А по ночам, когда Владимир Михайлович работал и только дребезжание стекол от уличной езды нарушало тишину, собака чутко дремала возле него и пробуждалась при малейшем его движении.

— Что, брат, печенки хочешь? — спрашивал он.

— Хочу, — утвердительно вилял хвостом Васюк.

— Ну, погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкал? Некогда, брат, некогда. Спи.

Каждую ночь спрашивал он собаку о печенке, но постоянно забывал купить ее, так как голова его была полна планами новых творений и мыслями о женщине, которую он полюбил. Раз только вспомнил он о печенке; это было вечером, и он проходил мимо мясной

лавки, а под руку с ним шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть к его локтю. Он шутиливо рассказал ей о своей собаке, хвалил ее ум и понятливость. Немного рисуясь, он передал о том, что были ужасные, тяжелые минуты, когда он считал собаку единственным своим другом, и, шутя, рассказал о своем обещании купить другу печенки, когда будет счастлив... Он плотнее прижал к себе руку девушки.

— Художник! — смеясь, воскликнула она. — Вы даже камни заставите говорить; а я





очень не люблю собак: от них так легко заразиться.

Владимир Михайлович согласился, что от собаки легко можно заразиться, и промолчал о том, что он иногда целовал блестящую черную морду.

Однажды днем Васюк играл больше обыкновенного, а вечером, когда Владимир Михайлович пришел домой, не явился встречать его, и тетка сказала, что собака больна.

Владимир Михайлович встревожился и пошел в кухню, где на тоненькой подстилке лежала собака. Нос ее был сухой и горячий, и глаза помутнели. Она пошевелила хвостом и

печально

посмотрела на друга.

— Что, мальчик, болен? Бедный ты мой!

Хвост слабо шевельнулся, и черные глаза стали влажными.

— Ну, лежи, лежи.

«Надо бы к ветеринару отвезти, а мне завтра некогда. Ну, да так пройдет», — думал Владимир Михайлович и забыл о собаке, мечтая о том счастье, какое может дать ему красивая девушка. Весь следующий день его не было дома, а когда он вернулся, рука его долго шарилась, ища звонка, а найдя, долго недоумевала, что делать с этой деревяшкой.

— Ах да, нужно же позвонить, — засмеялся он и запел: — отворите!

Одиноко звякнул колокольчик, зашлепали калоши, и скрипнул снимаемый крючок.

Напевая, Владимир Михайлович прошел в комнату, долго ходил, прежде чем догадался,

что

ему нужно зажечь лампу, потом разделся, но еще долго держал в руках снятый сапог и смотрел на него так, как будто это была красивая девушка, которая сегодня сказала так просто и сердечно: да, я люблю вас. И, улегшись, он все продолжал видеть ее живое лицо, пока рядом с ним не встала черная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнул в сердце вопрос: а где же Васюк? Стало совестно, что он забыл больную собаку, но не особенно: ведь не раз Васюк бывал болен, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но, во всяком случае, не нужно думать о собаке и о своей неблагодарности — это ничему не помогает и уменьшает счастье.

С утра собаке стало худо. Ее мучила рвота, и, воспитанная в правилах строгого приличия, она тяжело поднималась с подстилки и шла на двор, шатаясь, как пьяная. Ее маленькое черное тело лоснилось, как всегда, но голова была бессильно опущена, и посеревшие глаза смотрели печально и удивленно. Сперва Владимир Михайлович сам вместе с теткой раскрывал собаке рот с пожелтевшими деснами и вливал лекарство, но она так мучилась, так страдала, что ему стало тяжело смотреть на нее, и он оставил ее на попечение тетки. Когда же из-за стены доходил до него слабый, беспомощный стон, он закрывал уши руками и удивлялся, до чего он любил эту бедную собаку.

Вечером он ушел. Когда перед тем он заглянул в кухню, тетка стояла на коленях и гладила сухой рукой шелковистую, горячую голову. Вытянув ноги, как палки, собака лежала тяжелой и неподвижной, и, только наклонившись к самой ее морде, можно было услышать тихие и частые стоны. Глаза ее, совсем посеревшие, устремились на вошедшего, и, когда он осторожно провел по лбу, стоны сделались явственнее и жалобнее.

— Что, брат, плохо дело? Ну, погоди, выздоровеешь, печенки куплю.

— Суп есть заставлю, — шутливо пригрозила тетка.

Собака закрыла глаза, и Владимир Михайлович, ободренный шуткой, торопливо ушел и на улице нанял извозчика, так как боялся опоздать на свидание с Натальей

Лаврентьевной.

В эту осеннюю ночь так свеж и чист был воздух, так много звезд сверкало на темном небе. Они падали, оставляя огнистый след, и вспыхивали, и голубым светом озаряли красивое женское лицо, и отражались в темных глазах — точно светляк появлялся на дне черного глубокого колодца. И жадные губы беззвучно целовали и глаза эти, и свежие, как воздух ночи, уста, и холодную щеку. Ликующие, дрожащие любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.

Подъезжая к дому, Владимир Михайлович вспомнил о собаке, и грудь его заныла от темного предчувствия. Когда тетка отворила дверь, он спросил:

— Ну, что Васюк?



— Околел. Через час после твоего ухода.

Околевшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то, и подстилка была убрана. Но Владимир Михайлович и не хотел видеть трупа: это было бы слишком тяжелое зрелище. Когда он улегся спать и в пустой квартире замолкли все звуки, он заплакал, сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы, и слезы набухали под закрытыми веками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что он целовал женщину в тот миг, когда здесь, на полу, одиноко умирал тот, кто был его другом. И он боялся, что подумает тетка о нем, серьезном человеке, услышав, что он плачет о собаке.

С тех пор прошло много времени. Слава ушла от Владимира Михайловича так же, как и пришла — загадочная и жестокая. Он обманул надежды, которые возлагали на него, и все были злы на этот обман и выместили его негодующими речами и холодными насмешками.

А

потом, точно крышка гроба, опустилось на него мертвое, тяжелое забвение.

Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.

Проходили угарные, чадные ночи и беспощадно карающие белые дни, и часто, чаще, чем прежде, гулко раздавались в пустой квартире шаги тетки, а он лежал на своей кровати, смотрел в знакомое пятнышко на потолке и шептал:

— Друг, друг мой единственный...

И бессильно падала на пустое место дрожащая рука.

Комментарии

Впервые, под заглавием «Собака» и с подзаголовком «Эскиз», в газете «Курьер», 1899, 13 ноября, № 314.

## Леонид Николаевич Андреев «Баргамот и Гараська»

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной

—

попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь,

по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари —

проломленные

головы», давая Ивану Акипдиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности

Баргамот

скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки,

по

дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительный; для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он

знал

твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего



громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, — Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивающие мужей, и маленькие ребяташки, с восторгом взиравшие на отвагу тятёк. Вся эта буйная волна пьяных пушкарёв, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка. Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, — могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще молодой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа, как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины. Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось даже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлевать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще! — Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались «до разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкарёв, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубаш, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкарёв сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На



Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул — сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не

торопясь

со всеми похристосует. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник! «Потешный мальчик!» — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, — его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло ею тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное

для

всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и

подлую

Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. — Фонарь. Тпру! — кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?! — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. — Вот, вот!.. — Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузиться в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську.

Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, — в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь

напьется,

побуянит, переночует в участке — и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь

держали,

а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой

причины,

здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, — толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его



выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, — от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, — было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворачивает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улики.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? — Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь? — мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая...

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удалство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевки.

— А вот в участке поговоришь! Марш! — мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели. Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащился с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы! — презрительно ответил Баргамот. — До свету нализался.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значит, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте... — Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, — потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без

слов,

по-собачьи.





— Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот. Воеет. Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы.

Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... — бессвязно бурлил

Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить.

Может,

откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия, — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом

обиженный.

— Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, — бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. — А я, тово... в участок! Ишь ты! Тяжело крикнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну... — смущенно гудел он. — Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего? — передразнил Гараська. — К нему по-благородному, а он в... в участок.

Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пытался. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить? — спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего

сомнения

в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же? — не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался

к

основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндин, нельзя нас не бить, — поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю... — мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, — и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва



вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо

делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает

вид,

что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндиныч, а что же вы Ванятке-то... сюрпризец? — спрашивает Марья.

— Не надо, потом... — отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, — но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте, — потчует Марья. — Герасим... как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Денники, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его

тенору.

Баргамот с растерянностью и жалкою миной смотрит па жену.

— Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

1898

Комментарии

Впервые — в газете «Курьер», 1898, 5 апреля, № 94. Рассказ написан под ощутимым влиянием очерков Глеба Успенского: в Баргамоте проступают черты будочника

Мымрецова,

а в Гараське — пьяного портного Данилки, которого у Успенского только девушка из «заведения» называет по отчеству, и за это растроганный Данилка решает на ней жениться (очерк Гл. Успенского «Будка», 1868).

Герои рассказа Андреева имели реальных прототипов, хотя сюжет его, по-видимому, вымышлен. Фамилия городского Баргамотов, характеризующая его внешний облик, явно происходит от прозвища, а не наоборот. Баргамот (бергамот) — один из наиболее распространенных в России в прошлом веке сортов груш. Интересно отметить, что Иваном Акиндиновичем, как и городского Баргамота, звали известного в Орле в 1890-х гг. делопроизводителя воинского стола городской управы, бывшего станового пристава И. А. Боброва (см. его некролог в «Орловском вестнике», 1915, 21 июня).

Предложение написать для «Курьера» пасхальный рассказ Андреев получил от секретаря редакции газеты И. Д. Новика. 25 сентября 1898 г. Андреев вспоминал в

дневнике,

что рассказ им был написан и «после некоторого утуженья, отнявшего от рассказа значительную долю его силы, был принят, но без всякого восторга, что казалось мне вполне естественным, ибо сам я о рассказе был мнения среднего... Нельзя поэтому передать моего удивления, когда я являюсь в понедельник на Фоминой в Суд и редакцию и там только и слышишь „Баргамот и Гараська“ (заглавие рассказа). Говорят, что рассказ украшение всего пасхального номера. Там-то его читали вслух и восхищались, здесь о нем шла речь в вагоне железной дороги. Поздравляют меня с удачным дебютом, сравнивают с Чеховым и т. п. В три-четыре дня я поднялся на вершину славы».

Бывший сотрудник «Курьера» журналист Я. Земский вспоминал о начале работы Л.

Андреева в этой газете: «Совсем еще юноша, едва переступивший первую ступень



возмужалости, он сразу обратил на себя внимание... Мнения сотрудников о нем расходились: одни находили в нем просто талантливого беллетриста, другие пророчили ему

славу Чехова. По мере того как появлялись в „Курьере“ его рассказы, популярность его росла с необычайной быстротой. Руководители „Курьера“ нянчились с ним, как с капризным

ребенком» (Москва, 1910, № 67, 15 ноября).

«Баргамот и Гараська» растрогал и восхитил М. Горького, который сразу же после прочтения рассказа в «Курьере» 5 апреля 1898 г. написал в Петербург редактору-издателю «Журнала для всех» В. С. Миролюбову: «...вот бы Вы поимели в виду этого Леонида! Хорошая у него душа, у черта! Я его, к сожалению, не знаю, а то бы тоже к вам направил» (Горький М. Переписка в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1986, с. 80). Позже в письме Андрееву от 20–25 апреля 1899 г. Горький обратил внимание и на

художественные

недостатки рассказа: «Лучший ваш рассказ „Баргамот и Гараська“ — сначала длинен, в середине — превосходен, а в конце вы сбились с тона» (ЛН, т. 72, с. 66). М. Горький имел в виду заключительный эпизод рассказа (описание утреннего чаепития городского и поступившего к нему в работники Гараськи). Под влиянием критики М. Горького Андреев вычеркнул эту «сладкую» сцену, и в новой редакции «Баргамот и Гараська» был напечатан

в

журнале «Народное благо», 1902, №№ 15–16 и в коллективном благотворительном сборнике

«Книга рассказов и стихотворений», М, изд. С. Курнина и К°, 1902. «Баргамот и Гараська» переведен на многие иностранные языки (немецкий, английский, испанский, венгерский и др.).

## Кривин Феликс Давидович «Сказки с моралью»

- Эге, отстаешь, отстаешь! - подгоняет Большая Стрелка Маленькую. - Я уже вон сколько прошла, а ты все топчешься на месте! Плохо же ты служишь нашему времени!

Топчется Маленькая Стрелка, не успевает. Где ей за Большой Стрелкой поспеть!

Но ведь показывает она часы, а не минуты.

### ДВА КАМНЯ

У самого берега лежали два камня - два неразлучных и давних приятеля. Целыми днями грелись они в лучах южного солнца и, казалось, счастливы были, что море шумит в стороне и не нарушает их спокойного и мирного уюта.

Но вот однажды, когда разгулялся на море шторм, кончилась дружба двух приятелей: одного из них подхватила забежавшая на берег волна и унесла с собой далеко в море.

Другой камень, уцепившись за гнилую корягу, сумел удержаться на берегу и долго не мог прийти в себя от страха. А когда немного успокоился, нашел себе новых друзей. Это были старые, высохшие и потрескавшиеся от времени комья глины. Они с утра до вечера слушали рассказы



Камень о том, как он рисковал жизнью, какой подвергался опасности во время шторма. И, ежедневно повторяя им эту историю, Камень в конце концов почувствовал себя героем.

Шли годы... Под лучами жаркого солнца Камень и сам растрескался и уже почти ничем не отличался от своих друзей - комьев глины.

Но вот набежавшая волна выбросила на берег блестящий Кремень, каких еще не видали в этих краях.

- Здравствуй, дружище! - крикнул он Растрескавшемуся Камню.

Старый Камень был удивлен.

- Извините, я вас впервые вижу.

- Эх, ты! Впервые вижу! Забыл, что ли, сколько лет провели мы вместе на этом берегу, прежде чем меня унесло в море?

И он рассказал своему старому другу, что ему пришлось пережить в морской пучине и как все-таки там было здорово интересно.

- Пошли со мной! - предложил Кремень. - Ты увидишь настоящую жизнь, узнаешь настоящие бури.

Но его друг. Растрескавшийся Камень, посмотрел на комья глины, которые при слове "бури" готовы были совсем рассыпаться от страха, и сказал:

- Нет, это не по мне. Я и здесь прекрасно устроен.

- Что ж, как знаешь! - Кремень вскочил на подбежавшую волну и умчался в море.

...Долго молчали все оставшиеся на берегу. Наконец Растрескавшийся Камень сказал:

- Повезло ему, вот и зазнался. Разве стоило ради него рисковать жизнью? Где же правда? Где справедливость?

И комья глины согласились с ним, что справедливости в жизни нет.

ИГОЛКА В ДОЛГ

Не дают Ежу покоя.

Только он свернется, уляжется в своей норе, чтобы соснуть месяц-другой, пока холода отойдут, а тут стук.

- Разрешите войти?

Выглянет Еж за порог, а там - Хомяк-скорняк, шубный мастер.

- Простите, что побеспокоил, - извиняется Хомяк. - Не одолжите ли иголочку?

Что ему ответишь? Мнется Еж - и дать жалко, и отказать совестно.

- Я бы рад, - говорит, - я бы с удовольствием. Да у меня самого их маловато.



- Мне только на вечер, - просит Хомяк. - Шубу заказчику кончить нужно, а иголка сломалась.

С болью вытаскивает ему Еж иголку:

- Только прошу вас: кончите работу - сразу верните.

- Конечно, а как же! - заверяет Хомяк и, взяв иголку, торопится заканчивать шубу заказчику.

Еж возвращается в норку, укладывается. Но едва начинает дремать, снова стук.

- Здравствуйте, вы еще не спите?

На этот раз явилась Лиска-модистка.

- Одолжите иголочку, - просит. - Где-то моя затерялась. Искала-искала, никак не найду.

Еж и так и сяк - ничего не получается. Приходится и Лисе одолжить иголочку.

После этого Ежу наконец удастся заснуть. Лежит он, смотрит свои сны, а в это время Хомяк уже шубу кончил и спешит к Ежу, несет ему иголку.

Подошел Хомяк к норке Ежа, постучал раз, другой, а потом и внутрь заглянул. Видит: Еж спит, посапывает. "Не стану его будить, - думает Хомяк. - Воткну ему иголку на место, чтоб зря не беспокоить, а поблагодарю в другой раз, при случае".

Нашел на ежовой спине место посвободнее и сунул туда иглу. А Еж как подскочит! Не разобрался, конечно, со сна.

- Спасите! - кричит. - Убили, зарезали!

- Не беспокойтесь, - вежливо говорит Хомяк. - Это я вам иголку вернул. Большое спасибо.

Долго ворочался Еж, не мог уснуть от боли. Но все-таки уснул и, забыв о Хомяке, снова за свои сны принялся. Как вдруг...

- Ай! - завопил Еж. - Спасите, помогите!

Пришел немного в себя, смотрит - возле него Лиска-модистка стоит, улыбается.

- Я вас, кажется, немного испугала. Это я иголочку принесла. Уж так спешила, так спешила, чтобы вы не беспокоились.

Свернулся Еж клубком, брюзжит себе потихоньку. А чего брюзжать-то? С болью давал, с болью и назад получает.

"ИСТОРИЯ КАПЛИ",

написал я и посадил на бумаге кляксу.

- Вот хорошо, что ты решил обо мне написать! - сказала Клякса. - Я так тебе благодарна!

- Ты ошибаешься, - ответил я. - Я хочу написать о капле.

- Но ведь я тоже капля! - настаивала Клякса. - Только чернильная.





- Чернильные капли разные бывают, - сказал я. - Одни пишут письма, упражнения по русскому языку и арифметике, вот такие истории, как эта. А другие, вроде тебя, только место занимают на бумаге. Ну что я могу написать о тебе хорошего?

Клякса задумывается.

В это время возле нее появляется маленький Лучик. Листья деревьев за окном пытаются не пустить его в комнату. Они шуршат ему вслед:

- Не смей водиться с этой неряхой! Ты испачкаешься!

Но Лучик не боится испачкаться. Ему очень хочется помочь чернильной капле, которая так неудачно села на бумагу.

Я спрашиваю у Кляксы:

- Ты действительно хочешь, чтобы я о тебе написал?

- Очень хочу, - признается она.

- Тогда ты должна это заслужить. Доверься Лучику. Он заберет тебя, освободит от чернил, и ты станешь чистой, прозрачной каплей. Для тебя найдется дело, только смотри не отказывайся ни от какой работы.

- Хорошо, - соглашается Капля. Теперь ее уже можно так называть.

Я стою у окна и смотрю на тучи, которые уплывают вдаль.

Где-то там, среди них, и моя Капля. И я машу ей рукой:

- До свидания, Капля! Счастливого пути!

А далеко-далеко, в знойной степи, качается на ветру Колос. Он знает, что должен вырасти большим и что для этого ему нужна влага. Он знает, что без дождя высохнет на солнце и ничем не отблагодарит людей, которые так заботливо за ним ухаживают. Об одном только не знает Колос: о нашем уговоре с Каплей.

А Капля летит ему на помощь, и спешит, и подгоняет ветер:

- Скорее, скорее, мы можем не успеть!

Какая это была радость, когда она Наконец прибыла на место! Капля даже не подумала, что может разбиться, падая с такой высоты. Она сразу устремилась вниз, к своему Колосу.

- Ну, как дела? Еще держишься? - спрашивает она, приземляясь.

И мужественный Колос отвечает:

- Держусь, как видишь. Все в порядке.

Но Капля видит, что не все в порядке. Она с большим трудом прогрызает черствую землю и доходит до самого корня Колоса. Потом она принимается его кормить.

Колос оживает, распрямляется, чувствует себя значительно бодрее.



- Спасибо, Капля, - говорит он. - Ты мне очень помогла.

- Пустяки! - отвечает Капля. - Я рада, что была тебе полезна. А теперь - прощай. Меня ждут в других местах.

В каких местах ее ждут, Капля не говорит. Попробуй теперь ее найти, сколько на земле рек, озер, морей и океанов, и, можете себе представить, сколько в них капель!

Но свою-то Каплю я должен найти! Ведь я сам отправил ее в далекий путь, да еще пообещал о ней написать.

Паровоз, тяжело дыша, останавливается на узловой станции. Здесь ему нужно отдохнуть, запастись водой и горючим, чтобы с новыми силами двинуться дальше.

Журчит вода, наполняя его котлы. И - смотрите: в струе воды показалось что-то знакомое. Ну да, конечно же, это наша Капля!

Трудно Капле в паровозном котле! Жаркая здесь работа! Капля не только упарилась, но совсем превратилась в пар. И все же она неплохо справляется со своим делом.

Другие капли даже начинают прислушиваться к ее мнению по различным вопросам, обращаются к ней за советом, а она, собрав вокруг себя товарищей, командует:

- Раз, два - взяли! Ну-ка, еще поднажми!

Капли нажимают еще, и паровоз мчится, оставляя позади одну станцию за другой.

А потом Капля прощается со своими товарищами: кончилась ее смена. Паровоз выпускает пары, и она покидает котел, а ее товарищи кричат ей вслед:

- Не забывай нас. Капля! Может, еще встретимся!

Стоит суровая зима, земля мерзнет и никак не может согреться. А ей нельзя мерзнуть. Ей нужно сохранить свое тепло, чтобы отдать его весной деревьям, травам, цветам. Кто защитит землю, кто прикроет ее и сам не побоится холода?

Конечно, Капля.

Правда, теперь ее трудно узнать: от холода Капля превратилась в Снежинку.

И вот она медленно опускается на землю, прикрывает ее собой. Охватить Снежинка может очень небольшое пространство, но у нее много товарищей, и всем вместе им удастся уберечь землю от холода.

Снежинка лежит, тесно прижавшись к земле, как боец в белом халате. Злобно трещит Мороз, он хочет добраться до земли, чтобы ее заморозить, но его не пускает отважная Снежинка.

- погоди же! - грозит Мороз. - Ты у меня заплывешь!

Он посылает на нее сильный Ветер, и Снежинка действительно начинает плясать в воздухе. Ведь она очень легка, и Ветру с ней справиться нетрудно.

Но только Мороз, торжествуя победу, отпускает Ветер, как Снежинка опять опускается на землю, припадает к ней, не дает Морозу отобрать у земли тепло.



А потом ей на помощь приходит Весна. Она ласково согревает Снежинку и говорит:

- Ну вот, спасибо тебе, уберегла ты мою землю от Мороза.

Очень приятно, когда тебя хвалят. Снежинка буквально тает от этой похвалы и, снова превратясь в Каплю, бежит со своими товарищами в шумном весеннем потоке.

- Вот досада! Опять я кляксу посадил на бумагу! Ну скажи, чему ты улыбаешься. Клякса?

- Теперь-то ты напишешь обо мне, как обещал?

- Ах, это опять ты! Но я ведь предупреждал тебя, что ты должна заняться полезным делом. А ты, как была, так и осталась Кляксой.

- Ну, нет! Теперь я - настоящая Капля. И я занималась полезным делом.

- Почему же ты опять стала Кляксой?

Клякса хитро подмигивает мне:

- Иначе ты бы меня не узнал и не стал бы писать обо мне.

На этот раз я подмигиваю Кляксе:

- А ведь я написал о тебе. Так что ты зря волновалась. Вот послушай.

И я читаю Кляксе эту историю.

- Ну как, все правильно?

- Правильно, - с удовольствием соглашается Клякса. Но больше ничего не успевает добавить: появляется наш общий знакомый Лучик и начинает ее тормошить:

- Пойдем, Капля! Нечего здесь расслаживаться на бумаге!

И они улетают.

А я опять стою у окна и смотрю на тучи, уплывающие вдаль.

Где-то там, в этих тучах, и моя Капля. И я машу ей рукой:

- До свидания, Капля! Счастливого пути!

ШКОЛА

Пошел Гусь в огород посмотреть, все ли там в порядке. Глядь - на капусте кто-то сидит.

- Ты кто? - спрашивает Гусь.

- Гусеница.

- Гусеница? А я - Гусь, - удивился Гусь и загоготал. - Вот здорово Гусь и Гусеница!

Он гоготал и хлопал крыльями, потому что такого интересного совпадения ему никогда встречать не приходилось. И вдруг замолчал.



- А ты почему не хлопаешь? - спросил он почти обиженно.

- У меня нечем, - объяснила Гусеница. - Посмотри: видишь - ничего нет.

- У тебя нет крыльев! - догадался Гусь. - Как же ты летаешь в таком случае?

- А я не летаю, - призналась Гусеница. - Я только ползаю.

- Ага, - припомнил Гусь, - рожденный ползать летать не может. Жаль, жаль, тем более, что мы почти однофамильцы...

Они помолчали. Потом Гусь сказал:

- Хочешь, я научу тебя летать? Это совсем не трудно, и если у тебя есть способности, ты быстро научишься.

Гусеница охотно согласилась.

Занятия начались на следующий день.

- Вот это земля, а это - небо. Если ты ползаешь по земле, то ты просто ползаешь, а если ты ползаешь по небу, то ты уже не ползаешь, а летаешь...

Так говорил Гусь. Он был силен в теории.

Из-под капусты высунулась чья-то голова:

- Можно и мне? Я буду сидеть тихо.

- Ты что - тоже Гусеница?

- Нет, я Червяк. Но мне бы хотелось летать... - Червяк замялся и добавил, немного смутившись: - Это у меня такая мечта с детства.

- Ладно, - согласился Гусь. - Сиди и слушай внимательно. Итак, мы остановились на небе...

Они занимались каждый день с утра до полудня. Особенно старался Червяк. Он сидел не шелохнувшись и смотрел учителю в рот, а по вечерам старательно готовил уроки и даже повторял пройденный материал. Не прошло и месяца, как Червяк уже мог безошибочно показать, где находится небо.

Гусеница не отличалась такой прилежностью. На уроках она занималась бог знает чем: плела паутину и обматывала себя, пока не превратилась из живой, подвижной Гусеницы в какую-то восковую куколку.

- Так у нас дело не пойдет, - делал ей замечание Гусь. - Теперь я вижу, что ты, Гусеница, никогда не будешь летать. Вот Червяк полетит - за него я спокоен.

Червяк и тут прилежно слушал учителя. Ему было приятно, что его хвалят, хотя он и прежде не сомневался, что полетит: ведь у него по всем предметам были пятерки.

И вот однажды, придя на занятия. Гусь застал одного Червяка.

- А где Гусеница? - спросил Гусь. - Она что - больна?



- Она улетела, - сказал Червяк. - Вон, посмотрите. Видите?

Гусь посмотрел, куда показывал Червяк, и увидел Бабочку. Червяк уверял, что это - Гусеница, только теперь у нее выросли крылья. Бабочка легко порхала в воздухе, и даже сам Гусь не смог бы за ней угнаться, потому что хоть он и был силен в теории, но все-таки был домашней птицей.

- Ну, ладно, - вздохнул Гусь, - продолжим занятия.

Червяк сосредоточенно посмотрел на учителя и приготовился слушать.

- Итак, - сказал Гусь, - о чем мы говорили вчера? Кажется, мы остановились на небе?..

#### СКАЗКА ПРО КОЗЛИКА

Жил-был у бабушки серенький козлик.

Пошел он однажды в лес погулять - зверей посмотреть, себя показать. А навстречу ему - волки.

- Привет, старик! - говорят. - Куда топаешь?

Козлик чуточку струхнул, но ему было приятно, что такие взрослые волки с ним, как с равным, разговаривают, и это придало ему смелости.

- Здравствуйте, ребята! - сказал он, по примеру волков клацнув зубами. - Вот вышел немного проветриться.

- Прошвырнемся? - спрашивают волки.

Козлик не знал, что такое "Прошвырнемся", ни догадался, что волки приглашают его в компанию.

- Это можно! - тряхнул он едва пробивающейся бородкой.

- Тогда подожди здесь, - говорят волки. - Тут одно дело есть. Мы мигом.

Отошли в сторонку и советуются, как с козликом быть: сейчас сожрать или на завтра оставить?

- Вот что, мальчики, - говорит один. - Жрать его нет смысла. Каждому на зуб - и то не хватит. А в селе у него приличные связи, они нам всегда сгодятся. Отпустим его. Хорошо иметь своего козла отпущения.

Вернулись волки к козлику.

- Слушай, старик, нужна помощь. Мотнись в село, приведи кого-нибудь из приятелей.

Пошел козлик, привел двух баранов.

- Вот, знакомьтесь, - говорит, - это мои приятели.





Стали волки с баранами знакомиться - только шерсть с баранов полетела. Козлик хотел было остановить волков, но побоялся, что они его засмеют, что скажут: "Эх ты, бабушкин козлик!", и не остановил, а только сердито боднул баранью тушу.

- Ишь ты, какой кровожадный! - с уважением заметили волки и этим окончательно покорили козлика.

- Подумаешь - два барана! - сказал он. - Я могу еще больше привести, если надо.

- Молодец, старик! - похвалили его волки. - Давай, веди еще!

Побежал козлик.

Но едва прибежал в село, его схватили и бросили в сарай: кто-то видел, как он баранов в лес уводил.

Услышала бабушка, что козлика ее посадили, и - в колхозное правление.

- Отпустите его, - просит, - он еще маленький, несовершеннолетний.

- Да он двух баранов загубил, твой козлик, - отвечают бабке в правлении.

Плачет бабушка, просит, домой не идет. Что с ней делать - отдали ей козлика.

А козлик, не успел еще на порог дома ступить - снова в лес. Волки его уже ждали.

- Ну что, где твои бараны? - спрашивают.

Стыдно было козлику рассказывать, как бабушка его выручала.

- Я сейчас, - говорит он волкам. - Вы только подождите. Я их приведу, вот увидите.

Опять привел, опять попался. И опять его бабушка выручила. А потом бараны умнее стали: не хотят водиться с козликом, не верят ему.

Злятся волки, подтягивают животы. Смеются над козликом:

- Тоже, герой нашелся! Сказано - бабушкин козлик!

Обидно козлику, а что делать - не знает.

- Ты нас к бабке своей сведи, - предлагают волки. - Может, она нас хоть капустой угостит. Да и неудобно, что мы с ней до сих пор не знакомы.

- И верно! - обрадовался козлик. - Бабка у меня хорошая, она вам понравится.

- Конечно, - соглашаются волки. - Еще как понравится!

- И капуста понравится, - обещает козлик.

- Ну, это тебе видней, - уклончиво отвечают волки.

Привел их козлик домой.

- Вы пока знакомьтесь с бабушкой, а я сбегаю в огород, капусты нарву.



- Валяй, - говорят волки. - Мы здесь сами найдем дорогу.

Побежал козлик. Долго не возвращался. Известное дело - пусти козла в огород!

Когда принес капусту, волков уже не было. Не дождались они - ушли. Не было и бабушки. Бегал козлик по дому, искал ее, звал - да где там!

Остались от бабушки рожки да ножки.

#### ХИТРАЯ КОШКА

Бежит Мышка по коридору, вдруг кто-то ее цап за шиворот! Скосила Мышка глаза, глядь - Кошка. От Кошки добра не жди, и решила Мышка сделать вид, будто она не узнала Кошку.

- Скажите, пожалуйста, вы не видели Кошку?

Кошка прищурилась:

- А вам что - нужна Кошка?

- Д-да, - пискнула Мышка.

"Что-то тут не то, - подумала Кошка. - Но всякий случай правды говорить не следует".

- Кошка сидит в кабинете, - схитрила Кошка. - Она там всегда сидит... У нее там работа.

- Может, мне ее там поискать? - предложила Мышка, не совсем уверенная, что ее отпустят.

- Что ж, поищите, - разрешила Кошка, а про себя подумала: "Беги, беги, так ты ее и найдешь. Вот так дураков учат!"

Побежала Мышка. Сидит Кошка, ухмыляется: "Ай да я, ай да Кошка! Хорошо Мышку за хвост провела!"

А потом спохватилась: "Как же так? Выходит, я ее за здорово живешь отпустила? Ладно, попадешься ты мне в другой раз!"

И в другой раз попалась Мышка.

- Ну как, нашли вы тогда Кошку? - спросила Кошка, зло радуясь.

- Да, да, не беспокойтесь, - заторопилась Мышка, а сама так и смотрит, куда бы улизнуть.

"Ну, погоди, - решила Кошка. - Сейчас я тебя поймаю!"

- Значит, Кошка в кабинете сидит?

- В кабинете.

- И вы можете ее привести?

- М-могу...

- Ну-ка приведите.



Побежала Мышка.

Час прошел, и два, и три - нет Мышки. Конечно, где ей Кошку привести, когда Кошка - вот она! - здесь сидит.

Хорошо Кошка Мышку обхитрила!

ХВОСТ

Надоела Зайцу нужда, и решил он продать свой хвост.

Пришел на базар, взобрался на холмик и ждет покупателей. Увидели Зайца лисицы, выстроились в очередь. Задние нажимают на передних, спрашивают друг дружку:

- Чего дают?

- Да вот - хвост выбросили. Не знаю только, всем ли хватит.

- Ты, гляди, не помногу давай, - кричат Зайцу. - Чтобы всем хватило!

- Да я не помногу, - косится Заяц на свой хвостик, - только не жмите так, пожалуйста!

Жмут лисицы, мнут друг дружке бока, каждая боится, что ей не достанется.

- Трудно нынче с хвостами, - жалуются лисицы. - Слыхано ли дело - за хвост две морковки!

- Нет, не слыхано, - соглашается Заяц. - Просто этот хвост мне дорог как память. Я его от родителей получил... Ой, не жмите, пожалуйста!..

Но его уже никто не слушал. Покупатели сбились в кучу, каждый норовил вцепиться в хвост. А когда куча рассеялась. Заяц куда-то делся и на земле остался только его хвостик.

Только хвостик - и никакой возле него очереди.

ПОЛУПРАВДА

Купил Дурак на базаре Правду. Удачно купил, ничего не скажешь. Дал за нее три дурацких вопроса да еще два тумака сдачи получил и - пошел.

Но легко сказать - пошел! С Правдой-то ходить - не так просто. Кто пробовал, тот знает. Большая она. Правда, тяжелая. Поехать на ней - не поедешь, а на себе нести - далеко ли унесешь?

Тащит Дурак свою Правду, мается. А бросить жалко. Как-никак, за нее заплачено.

Добрался домой еле жив.

- Ты где, Дурак, пропадал? - набросилась на него жена.

Объяснил ей Дурак все, как есть, только одного объяснить не смог: для чего она, эта Правда, как ею пользоваться.

Лежит Правда среди улицы, ни в какие ворота не лезет, а Дурак с женой держат совет - как с нею быть, как ее приспособить в хозяйстве.



Крутили и так и сяк, ничего не придумали. Даже поставить Правду, и то негде. Что ты будешь делать - некуда Правды деть!

- Иди, - говорит жена Дураку, - продай свою Правду. Много не спрашивай - сколько дадут, столько и ладно. Все равно толку от нее никакого.

Потащился Дурак на базар. Стал на видном месте, кричит:

- Правда! Правда! Кому Правду - налетай!

Но никто на него не налетает.

- Эй, народ! - кричит Дурак. - Бери Правду - дешево отдам!

- Да нет, - отвечает народ. - Нам твоя Правда ни к чему. У нас своя Правда, не купленная.

Но вот к Дураку один Торгаш подошел. Покрутился возле Правды, спрашивает:

- Что, парень. Правду продаешь? А много ли просишь?

- Немного, совсем немного, - обрадовался Дурак. - Отдам за спасибо.

- За спасибо? - стал прикидывать Торгаш. - Нет, это для меня дороговато.

Но тут подоспел еще один Торгаш и тоже стал прицениваться.

Рядились они, рядились и решили купить одну Правду на двоих. На том и сошлись.

Разрезали Правду на две части. Получились две полуправды, каждая и полегче, и поудобнее, чем целая была. Такие полуправды - просто загляденье.

Идут торгаши по базару, и все им завидуют. А потом и другие торгаши, по их примеру, стали себе полуправды мастерить.

Режут торгаши правду, полуправдой запасаются.

Теперь им куда легче разговаривать между собой.

Там, где надо бы сказать: "Вы подлец!" - можно сказать: "У вас трудный характер". Нахала можно назвать шалуном, обманщика - фантазером.

И даже нашего Дурака теперь никто дураком не назовет.

О дураке скажут: "Человек, по-своему мыслящий".

Вот как режут Правду!

#### СОСЕДКИ

Вот здесь живет Спесь, а через дорогу от нее - Глупость. Добрые соседки, хоть характерами и несхожи: Глупость весела и болтлива. Спесь мрачна и неразговорчива. Но - ладят.

Прибегает однажды Глупость к Спеси:



- Ох, соседка, ну и радость у меня! Сколько лет сарай протекал, скотина хворала, а вчера крыша обвалилась, скотину прибило, и так я одним разом от двух бед избавилась.

- М-да, - соглашается Спесь. - Бывает...

- Хотелось бы мне, - продолжает Глупость, - отметить это событие. Гостей пригласить, что ли. Только кого позвать - посоветуй.

- Что там выбирать, - говорит Спесь. - Всех зови. А то, гляди, подумают, что ты бедная!

- Не много ли - всех? - сомневается Глупость. - Это ж мне все продать, все с хаты вынести, чтоб накормить такую ораву...

- Так и сделай, - наставляет Спесь. - Пусть знают.

Продала Глупость все свое добро, созвала гостей. Попировали, погуляли на радостях, а как ушли гости - осталась Глупость в пустой хате. Головы приклонить - и то не на что. А тут еще Спесь со своими обидами.

- Насоветовала, - говорит, - я тебе - себе на лихо. Теперь о тебе только и разговору, а меня - совсем не замечают. Не знаю, как быть. Может, посоветуешь?

- А ты хату подожги, - советует Глупость. - На пожар-то они все сбегутся.

Так и сделала Спесь: подожгла свою хату.

Сбежался народ. Смотрят на Спесь, пальцами показывают.

Довольна Спесь. Так нос задрала, что с пожарной каланчи не достанешь.

Но недолго пришлось ей радоваться. Хата сгорела, разошелся народ, и осталась Спесь посреди улицы. Постояла, постояла, а потом - деваться некуда - пошла к Глупости:

- Принимай, соседка. Жить мне теперь больше негде.

- Заходи, - приглашает Глупость, - живи. Жаль, что угостить тебя нечем: пусто в хате, ничего не осталось.

- Ладно, - говорит Спесь. - Пусто так пусто. Ты только виду не показывай!

С тех пор и живут они вместе. Друг без дружки - ни на шаг. Где Глупость - там обязательно Спесь, а где Спесь - обязательно Глупость.

#### ЯЩИК

Вы, конечно, слышали о Ящике, о простом фанерном Ящике, который долгое время был у всех на посылках, а потом, испещренный со всех сторон адресами, настолько повысил свое образование, что его перевели в кладовку на должность главного кладовщика.

Работа, как говорят, не пыльная. Правда, если приглядеться поближе, пыли в кладовке всегда хватало, но зато у Ящика здесь, даже при полной темноте, было настолько видное положение, что он сразу оказался в центре внимания. На полках, на окне, на столе и на табуретках - всюду у Ящика появились приятели.





- Вы столько изъездили! - дребезжали приятели. - Расскажите, пожалуйста, где вы побывали.

И Ящик зачитывал им все адреса, которые были написаны у него на крышках.

Постепенно беседа оживлялась, и вот уже Ящик, совершенно освоившись в новой компании, затянул свою любимую песню:

Когда я на почте служил ящиком...

Все давно перешли на ты, и ничего особенного, конечно, в том не было, что Клещи, отведя Ящик в сторонку, спросили у него совершенно по-дружески:

- Послушай, Ящик, у тебя не найдется лишнего гвоздика?

Нет, лишнего гвоздика у Ящика не было, но ведь дружба - сами понимаете.

- Сколько надо? - щедро спросил Ящик. - Сейчас вытяну.

- Не беспокойся, мы сами вытянем...

- Сами? Зачем сами? Для друзей я...

Ящик тужился, пытаясь вытащить из себя гвозди, но в конце концов Клещам все-таки пришлось вмешаться.

Когда я на почте...

- пел Ящик, развалясь посреди чулана. Он потерял половину гвоздей, но еще неплохо держался. Это отметили даже Плоскогубцы.

- Ты, брат, молодец! - сказали Плоскогубцы и добавили как бы между прочим: - Сообрази-ка для нас пару гвоздиков?

Еще бы! Чтобы молодец - да не сообразил! Ящик сделал широкий жест, и Плоскогубцы вытащили из него последние гвозди.

- Ай да Ящик! Ну и друг! - восхищались чуланные приятели. И вдруг спохватились: - Собственно, почему Ящик? Никакого Ящика здесь нет.

Да, Ящика больше не было. На полу лежали куски фанеры.

- Здорово он нас провел! - сказали Клещи. - Выдавал себя за Ящик, а мы и уши развесили...

- И помните? - съязвили Плоскогубцы. - "Когда я на почте служил ящиком!.." Ручаемся, что это служил не он, да и не на почте, да и не ящиком, да и вообще нет такой песни.

Последние слова Плоскогубцев прозвучали особенно убедительно.

- Нет такой песни! - подхватили обитатели чулана. - Нет такой песни и никогда не было!

МЕМОУАРЫ

Жили на письменном столе два приятеля-карандаша - Тупой и Острый. Острый Карандаш трудился с утра до вечера: его и строгали, и ломали, и в работе не щадили. А к Тупому Карандашу



и вовсе не притрагивались: раз попробовали его вовлечь, да сердце у него оказалось твердое. А от твердого сердца ни в каком деле толку не жди.

Смотрит Тупой Карандаш, как его товарищ трудится, и говорит:

- И чего ты маешься? Разве тебе больше всех надо?

- Да нет, совсем не больше, - отвечает Острый Карандаш. - Просто самому интересно.

- Интересно-то интересно, да здоровье дороже, - урезонивает его Тупой Карандаш. - Ты погляди, на кого ты похож: от тебя почти ничего не осталось.

- Не беда! - весело отвечает его товарищ. - Меня еще не на одну тетрадь хватит!

Но проходит время, и от Острого Карандаша действительно ничего не остается. Его заменяют другие острые карандаши, и они с большой любовью отзываются о своем предшественнике.

- Я его лично знал! - гордо заявляет Тупой Карандаш. - Это был мой лучший друг, можете мне поверить!

- Вы с ним дружили? - удивляются острые карандаши. - Может быть, вы напишете мемуары?

И Тупой Карандаш пишет мемуары.

Конечно, пишет он их не сам - для этого он слишком тупой. Острые карандаши задают ему наводящие вопросы и записывают события с его слов, Это очень трудно: Тупой Карандаш многое забыл, многое перепутал, а многого просто передать не умеет. Приходится острым карандашам самим разбираться подправлять, добавлять, переиначивать.

Тупой Карандаш пишет мемуары...

ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Для Календаря наступила осень...

Вообще-то осень у него - всю жизнь, потому что круглый год с него опадают листки, но когда листков остается так мало, как сейчас, то это уже настоящая осень.

Календарь шлепал по лужам, глядя в них - много ли на небе туч. У него уже не хватало сил поднять голову.

Вот тут-то ему и повстречалась теплая компания.

Тридцать Первое Ноября, Восьмой День Недели и Двадцать Пятый Час Суток сидели вне времени и пространства и говорили об осенних делах.

- Эге, папаша, неважно ты выглядишь! - крикнули они Календарю. Смотри, доконает тебя эта осень.

- Доконает, - вздохнул Календарь.

- Да ты присаживайся, чего стоишь?



- Надо идти, - сказал Календарь, - нет времени.

- Это у тебя-то нет времени? - рассмеялся Восьмой День Недели. - А что же нам тогда говорить? На нашу долю и вообще времени не досталось.

- Да, - проворчал Двадцать Пятый Час, - ночей не спишь, все стараешься попасть в ногу с временем - никак не удается. Дождешься двадцати четырех часов, только попробуешь приткнуться - глядь - уже час ночи.

- Или первое декабря, - вставило Тридцать Первое Ноября. - Сразу после тридцатого.

- А я уж как извелся с этими воскресеньями и понедельниками! Так держатся друг за дружку, как будто их кто-то связал. - Восьмой День Недели с укором посмотрел на Календарь. - А все ты, папаша, виноват. Нет у тебя порядка.

- Как это нет порядка? - обиделся Календарь. - Я за порядком сам слежу, у меня каждый день на учете.

- А толку-то от этих дней! - воскликнуло Тридцать Первое Ноября. Каждый из них отбирает у тебя день жизни.

- Отбирает, это правда...

- Слышь, папаша, ты бы плюнул на них, а? Взял бы лучше нас - мы бы у тебя ни минутки не тронули.

- Вас? - с сомнением посмотрел на них Календарь.

- Ну конечно, нас! - сказал Восьмой День Недели. - У нас бы время никуда не двигалось, на месте стояло. Ни четвергов, ни пятниц, ни суббот живи, ни о чем не думай.

- И все время ночь, - подхватил Двадцать Пятый Час. - Спи себе, знай, похрапывай!

- Это бы ничего, - улыбнулся Календарь. - И все листки целы?

- Все до одного! Если время стоит - куда им деваться?

Календарь сел, аккуратно подобрал листки.

- Я бы тогда в библиотеку поступил, - мечтательно произнес он. - Там с книгами хорошо общаются. Взял, почитал, на место поставил... Вот жизнь!

- Выдана книга тридцать первого ноября...

- В восьмой день недели...

- В двадцать пять ноль-ноль...

- Вернуть книгу тридцать первого ноября...

- В восьмой день недели...

- В двадцать пять ноль-ноль...



- Пойдите, пойдите, - беспокоился Календарь. - Это как же? Одну книгу читать целый год?

- А что - разве много? Если время стоит - чего там его экономить?

Это сказала Тридцать Первое Ноября. А Восьмой День Недели добавил:

- Да и читать-то никто не будет. Время стоит - значит, все стоит, разве не понимаешь?

- Все стоит? И жизнь, и все остальное?

- Стоит, папаша, стоит! И тебе - прямая дорога на пенсию. Нарботал свое, довольно!

- А как же библиотека?

- На кой она тебе? Плюнь, не думай!

Календарь встал, расправил свои листки.

- Ну, вот что, нечего мне тут с вами время терять. Поговорили и хватит!

- А осень, папаша? Она же не пощадит! - напомнил Двадцать Пятый Час.

- Ну и ладно!

- Ох, смотри, доведут тебя твои дни!

- Вы мои дни не судите, - рассердился Календарь. - Не вам их судить! Они у меня все при деле. А вы что? Так, в стороне? Значит, вы вроде и не существуете.

Календарь оторвал от себя листок.

- Вот, потерял с вами целый день. Возьмите себе - на память о потерянном времени.

И он зашагал по лужам. Но теперь уже в них не глядел. Календарь смотрел высоко и далеко - туда, где кончается его жизнь и начинается жизнь других календарей, которые сейчас выходят из печати.

## ХУДОЖНИК

Жил на свете Художник.

Однажды, еще в детстве, он нарисовал портрет старика. Старика этого он выдумал, но на портрете старик получился совсем как живой. Маленький Художник никак не мог расстаться со своей работой: он все что-то добавлял, подмалевывал и так увлекся, что старику это надоело. Он сошел с портрета и сердито сказал:

- Довольно! Ты меня совсем замучаешь!

Маленький Художник растерялся: ему не приходилось прежде иметь дело со стариками, которые сходят со своих портретов.

- Кто вы такой? - спросил он. - Может быть, колдун?

- Нет, не то!



- Фокусник?

- Не то!

- Ага, теперь я понимаю, - догадался мальчик. - Вас, вероятно, зовут Нето. Только я, признаться, никогда не слышал такого имени.

- На этот раз ты угадал, - сказал старик. - Меня действительно так зовут. И знаешь почему? Все, кто имеет со мной дело, считают, что я - это совсем не то, что им нужно.

- А какие у вас дела? - спросил мальчик.

- Ну, - важно ответил старик, - работы у меня достаточно. Все лучшее, что создано на земле человеком, - создано при моем участии. Когда-нибудь ты это поймешь.

И старик удалился на свой холст.

Маленький Художник теперь уже не осмеливался прикасаться к нему. Он спрятал портрет старика и вскоре о нем забыл.

Шли годы. Маленький Художник вырос и стал настоящим Художником. Его искусство признали и полюбили, его картины украшали залы лучших картинных галерей. Многие завидовали Художнику - его славе, его успеху, считали Художника счастливым человеком.

А на самом деле это было не так.

Художник был недоволен своими картинами. Они доставляли ему радость лишь тогда, когда он над ними работал. А кончалась работа - и возникали сомнения. Каждая новая картина казалась ему неудачей.

Однажды, вернувшись домой с очередной выставки своих картин, он долго не мог уснуть. Он перебирал в уме картины, и ему было досадно за людей, которые ими восхищались.

- Не то, все не то! - воскликнул Художник.

И вдруг перед ним появился старик. Это был тот старик, которого Художник нарисовал в детстве.

- Здравствуй, - сказал старик, - ты меня, кажется, звал?

- Кто вы такой? - удивился Художник.

- Ты, видно, меня не узнал, - огорчился старик. - Вспомни портрет, который ты когда-то нарисовал.

- Не говорите мне о моих работах, - попросил Художник - Ничего у меня с ними не получается, сколько ни бьюсь. И почему только всем нравятся мои картины?

- Как это всем? - возразил старик. - Мне, например, не особенно нравятся.

- Вам не нравятся мои картины?

- А что ж тут такого? Ведь тебе они тоже не нравятся.





Очень расстроил Художника этот разговор. Правда, он и раньше критически относился к своим работам, но его утешало то, что он в этих суждениях одинок и, может быть, ошибается.

Никогда еще Художник не работал так напряженно. Новые картины принесли ему еще большую славу и окончательно развеяли все сомнения.

"Если бы старик увидел эти картины, - думал он, - они бы, наверно, ему понравились".

Но старик больше не появлялся.

Прошло еще много лет.

И вот однажды Художник, уже больной и старый, роаясь в своих архивах, нашел портрет старика.

"Что это за рисунок? - подумал он. - Я его совсем не помню".

- Ты меня опять не узнал, - сказал старик, сходя со своего портрета. Я все ждал, что ты меня позовешь, но ты так и не позвал. Ты, видно, вполне доволен своей работой и поэтому забыл про старика Нето, который один может помочь создать что-нибудь путное. Вот перед тобой твои картины - посмотри на них моими глазами.

И вдруг все картины словно преобразились. Художник смотрел на них и не верил, что это им он посвятил всю свою жизнь.

- Что это! - крикнул он. - Разве это мои картины? Нет, это не то! Не то. Не то, не то, не то!

- Ты зовешь меня, - грустно сказал старик. - Но теперь уже поздно. К сожалению, поздно.

#### РАССКАЗ О ЛЕСОРУБЕ, КОТОРОМУ ДО ВСЕГО БЫЛО ДЕЛО

В старину в одном городе люди потеряли улыбку...

Уверяю вас, что это очень страшно, гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд.

Никто не знал, откуда взялась эта загадочная болезнь, и местные светила науки изо дня в день изучали причины ее возникновения.

- Очевидно, это что-то желудочное, - говорил доктор Касторка.

- Нет. Нет, нет... Скорее это явление простудного характера, - возражал ему доктор Стрептоцид.

- Чепуха! - категорически заявлял профессор Пенициллин. (Злые языки утверждали, что именно это магическое слово принесло ему профессорство.)

Между тем болезнь с каждым днем принимала все более угрожающий характер. Люди забыли о весне, о солнце, о друзьях, и на улицах вместо приветливых и дружелюбных слов только и слышалось:

- Не твоё дело! Не суй свой нос! Иди своей дорогой!

И как раз в это трудное время с гор спустился молодой Лесоруб. Подходя к городу, он увидел человека, который барахтался в реке, силясь выбраться на берег.



- Тонешь? - спросил Лесоруб, собираясь броситься на помощь.

- Не твоё дело, - мрачно ответил утопающий и ушел под воду.

Лесоруб больше не стал тратить время на разговоры, а бросился в реку и вытащил человека на берег.

- Ты что же это сопротивляешься, когда тебя спасать хотят? Смотри, чужак, так и утонуть недолго.

- Да кто ж тебя знал, что ты всерьез спасать надумал? У нас это не принято.

Пожал плечами Лесоруб и отправился в город.

На одной из улиц дорогу ему преградила огромная толпа народа. В центре толпы маленький старичок трудился над опрокинутой телегой и никак не мог поставить ее на колеса.

- Давай-ка, дед, вместе! - сказал Лесоруб. - Одному-то тебе не под силу.

- Не твоё дело, - буркнул старик, не поднимая головы.

- Ишь ты, гордый какой, - засмеялся Лесоруб. - У меня-то сил побольше твоего. А вдвоем не справимся - люди подсобят: вон их сколько собралось тебе на подмогу.

При этих словах толпа начала расходиться. Задним уйти было легко, а передним - труднее, и они волей-неволей взялись помогать старику.

Вскоре в городе только и разговоров было что о молодом Лесорубе. Говорили, что он во все вмешивается, о каждом хлопочет, что ему до всего дело. Сначала к этому отнеслись с улыбкой (это была первая улыбка, появившаяся в городе за время эпидемии), а потом многие захотели составить Лесорубу компанию, потому что он был веселый парень и делал интересное дело.

Однажды утром профессор Пенициллин выглянул в окно, и слово "чепуха" застряло у него в горле: на улице он увидел сотни улыбающихся лиц. Однако борьба с эпидемией была в плане работы больницы на весь следующий год, поэтому профессор решил закрыть глаза на факты. Он уже открыл рот, чтобы сказать: "Не моё дело", но его перебил Лесоруб, который как раз в это время входил в Зал заседаний:

- Пожалуйста, профессор, не произносите этой фразы: ведь она и есть причина заболевания, которую вы так долго искали.

Так кончилась эпидемия.

Лишь только у жителей города исчезла из употребления фраза "Не твоё дело", к ним тотчас вернулась улыбка, они стали веселыми и счастливыми.

А Лесоруб ушел в горы - у него там было много работы.

### ЧУДЕСНЫЙ КАМЕНЬ

Маленький жучок Солдатик возвращался на родину.

Служба его кончилась, и теперь он спешил домой, к своей Солдатке. Это очень веселое дело - возвращаться домой, поэтому настроение у Солдатика было великолепное. Он шел строевым шагом, которому его обучили во время службы, и сам себе командовал:



- Раз, два, три, четыре, пять, шесть!левой передней, правой передней!левой задней, правой задней!левой средней!.. - словом, ни одна нога не была забыта.

Красная спинка с черными пятнышками то пропадала в высокой траве, то снова появлялась на дороге. Она привыкла и к знойным лучам, и к холодным дождям, она очень много испытала, очень много вынесла, эта натруженная солдатская спинка.

- Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Следуя таким бодрым шагом, Солдатик прошел к вечеру около семидесяти метров и стал устраиваться на ночлег. Солдатская служба научила его спать в любых условиях, поэтому он расположился прямо на земле, подложив себе под голову камень, и сразу уснул.

И приснилось Солдатику, что он дома, со своей Солдаткой. Сидят они у порога, смотрят на звезды и мирно беседуют. Солдатик рассказывает о своих ратных делах, о премудростях воинской службы, а Солдатка почтительно поддакивает да удивляется. Все-то ей в диковинку, все в новинку.

Потом они вместе бродят по полям, отдыхают под стволами пшеничных колосьев, и Солдатка рассказывает, как она ждала Солдатику, как без него тосковала.

Проснулся Солдатик и еще пуще домой заторопился. Но, отойдя несколько шагов, вернулся назад и взял камень, который ночью клал себе под голову. На вид это был обыкновенный серый камень, но Солдатик сразу понял, что он вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд.

"Не на каждом камне такой сон приснится, - подумал Солдатик. - Видать, это - счастливый камень. Отнесу-ка я его домой, своей Солдатке в подарок".

И - опять зашагал по дороге.

Много дней шел Солдатик, пока добрался до своего дома.

Стал на пороге, крикнул:

- Эй, хозяйка, принимай гостя!

Подождал - никакого ответа.

- Ты что - спишь?! - крикнул снова.

Никто не отвечает.

Стали собираться соседи. Здоровались, поздравляли с благополучным возвращением и - почему-то прятали глаза.

Заметил это Солдатик, забеспокоился.

- Где моя Солдатка? Уж не случилось ли с ней чего?

Молчат соседи. Только жук Дровосек, старый друг Солдатику, сказал:

- Брось, солдат! Нечего тебе по ней печалиться.

- Да что ты говоришь! Спящий, что ли?



- Она здесь больше не живет, - сказал Дровосек, пропустив Солдатику грубое слово. - В зерновой амбар перебралась.

- В какой амбар?

- В зерновой. Ее Долгоносик, тамошний завхоз, взял к себе на содержание.

Постоял Солдатык, подумал.

- Долгоносик, говоришь? Ну что ж! Я и Долгоносика не испугаюсь. Мне наплевать, что он завхоз.

Пришел Солдатык в амбар.

- Здравствуй, жена. Вот я и вернулся. Собирайся - домой пойдем.

- Никуда я не пойду, - отвечает Солдатка. - Мало, что ли, я с тобой горя хлебнула?

Убеждал ее Солдатык, убеждал - ничего не получается.

- Ты вот к жене пришел после долгой разлуки, - говорит Солдатка. - А что ты принес? Принес хоть какой-нибудь подарок?

- Принес! - обрадовался Солдатык и протянул ей свой камень.

- Ха-ха-ха! - рассмеялся Долгоносик. - Вот это подарок!

- Ты чего смеешься? - рассердился Солдатык. - Как ты можешь смеяться, если ты ничего не понимаешь?

- А тут и понимать нечего! Таких камней у нас во дворе сколько хочешь валяется!

Видит Солдатык, что Долгоносик и вправду ничего не понимает.

- Глупый ты. Долгоносик, разве это \_такие\_ камни? Это камни \_похожие\_, но не такие. И какой ты завхоз, если в простых вещах разобраться не можешь?

Эти слова задела Долгоносика.

- Ты мою должность не обижай, - сказал он. - Должность у меня трудная и неблагодарная. Работаешь с утра до вечера, спины не разгибаешь, и никто даже спасибо не скажет.

Неловко стало Солдатику, что он о Долгоносике плохо подумал.

- Извини, - говорит, - як тебе ничего не имею. Ты, вижу, справедливый Долгоносик, и должность у тебя справедливая. Только мне за Солдатку обидно: как ни скажи, жена все-таки, тосковал я по ней, надеялся...

- Никакая я тебе не жена, - говорит Солдатка. - Ищи себе другую и таскай ей камни хоть со всего света.

Понял Солдатык, что толку от этого разговора не будет.

- Ну, коли так - оставайся, неволить не стану.



Взвалил на плечи свой камень и - пошел.

На опушке леса остановился, в последний раз посмотрел на свой дом и побрел прочь - куда глаза глядят. Больше не командовал себе: "Левой передней! Правой передней!" - и камень, который он нес, показался ему гораздо тяжелее.

К вечеру подошел к ручью.

Напился, отдохнул, а утром стал думать, как бы на другую сторону перебраться. Смотрит - невдалеке листок на воде качается, а на нем Комар, видать, перевозчик. Окликнул его Солдатик:

- Перебрось меня, друг, на ту сторону!

- Давай садись!

Но только Солдатик стал забираться на листок Комар закричал:

- погоди, погоди! Ты куда - с камнем? Хочешь плот потопить?

- Это не простой камень, - объясняет Солдатик. - Это камень особенный.

- Вижу я, какой он особенный, - говорит Комар. - Обыкновенный камень.

- А может, ты сначала камень перевезешь, а потом меня? Так плоту легче будет, - предлагает Солдатик.

- Ты что - меня за дурака считаешь? Чтобы я камни возил, каких и на той стороне сколько хочешь валяется?

- Таких там нет, - говорит Солдатик. - Там совсем другие камни.

- Вот что, служивый! - разозлился Комар. - Хочешь ехать - садись, а нет - отчаливай. У меня и без тебя работы хватает.

- Ну, тогда прощай, - сказал Солдатик. - Я пойду погляжу, - может, как иначе переберусь на ту сторону.

Ходил, ходил, нашел самое узкое место. Попробовал - глубоко. Что делать?

И вдруг, пока он примерялся да раздумывал, выскользнул у него камень и упал как раз на середину ручья.

Стал его Солдатик вытаскивать. Взобрался на камень, смотрит - а с него до другого берега рукой подать. Перебрался через ручей и думает: "Вот так камень! Без него бы мне никак не переправиться!"

Вытащил камень из воды, взвалил на плечи и дальше пошел.

И даже как будто веселей ему стало. Идет, бубнит себе под нос какую-то солдатскую песенку и вдруг слышит:

- Здравствуйте, извините, пожалуйста, что нарушаю течение ваших мыслей...

Оглянулся Солдатик - никого не видно.





А голос продолжает:

- Осмелюсь спросить, как далеко вы направляетесь с такой тяжелой ношей?

Еще раз осмотрелся Солдатик и только тогда увидел маленького беленького червячка, который сидел под кустом и копался в каком-то клочке бумаги.

- Кто вы такой? - спросил Солдатик.

- О, простите, что не представился! - поспешно заизвинялся червячок. Я - Книжный Червь. Работаю в городе, в публичной библиотеке, а здесь гощу у родственников.

- Понятно, - сказал Солдатик и хотел двинуться дальше, но Книжный Червь его остановил:

- Извините, пожалуйста. Очевидно, по рассеянности вы забыли ответить на мой вопрос. Я позволил себе поинтересоваться, куда вы направляетесь с этой нелегкой ношей.

- Как вам сказать... - замялся Солдатик. - Я и сам не знаю, куда иду...

- Ах, вы, путешествуете! - подхватил Книжный Червь. - Ну что ж! Это весьма интересно. Необходимый отдых душе и телу, познание жизни во всех ее проявлениях... А что это вы несете с собой, разрешите полюбопытствовать?

- Это камень...

- Драгоценный камень? - оживился Червь. - Какой же, позвольте узнать? Изумруд, опал, сапфир или, может быть, аметист? Или...

- Да нет, это вовсе не драгоценный камень, - перебил Червя Солдатик. Но для меня он дороже самого драгоценного. Понимаете - как бы вам это объяснить? Словом, это - счастливый камень.

- Простите, пожалуйста, - сказал Книжный Червь, - дайте мне на минутку сосредоточиться.

Он задумался и долго сидел неподвижно. Солдатик терпеливо ждал. Наконец, когда он уже собрался было уходить. Книжный Червь вышел из задумчивости.

- Простите, - сказал он. - Значит ли это, что ваш камень имеет какое-то отношение к счастью?

- Конечно, имеет. Я же вам сказал, что это счастливый камень.

- Вы мне позволите еще на минутку сосредоточиться? - попросил Червь.

Солдатику неудобно было отказывать.

- Валяйте, - разрешил он. - Только не долго.

Червь опять ушел в себя. Он что-то вспоминал, повторяя в раздумье: "Счастье... Счастье... Счастье..."

- Вы знаете, - сказал он через полчаса, - мне кое-что приходилось читать по этому вопросу. Счастье - это высшее удовлетворение, полное довольство.



- Тоже сказали! - возмутился Солдатик. - Полное довольство! Хуже этого ничего не придумаешь!

- Но ведь не я выдумал это определение. - несколько раздраженно, но не выходя из приличных рамок, заметил Червь. - Я вообще никогда ничего не выдумываю. Это определение я вычитал в словаре - очень солидном, авторитетном издании. А как вы сами понимаете счастье?

- Счастье, - сказал Солдатик, - это когда веришь в то, чего не имеешь, но очень хочешь иметь. Веришь и добиваешься.

- Я не стану с вами спорить, - снисходительно заметил Книжный Червь. У вас, очевидно, просто нет достаточной подготовки в данном вопросе. Но объясните мне - почему вы называете этот камень счастливым?

- Это мой единственный друг, - сказал Солдатик. - Он не раз меня выручал. Когда бывает трудно, он помогает мне верить в лучшее. Стоит положить его под голову, и приснятся такие сны...

- Ну, я вижу, происхождение снов и сновидений вам также мало знакомо. Желаю вам восполнить этот пробел. Если вы заглянете ко мне в библиотеку...

Но Солдатик больше его не слушал. Книжный Червь, видно, и понятия не имел, что такое мечта, которая даже камни наделяет волшебной силой, мечта, без которой немислимо никакое счастье.

И Солдатик отправился дальше, оставив Книжного Червя гостить у родственников и сосредоточиваться сколько ему заблагорассудится.

Долго странствовал Солдатик. Всюду смеялись над ним и над его камнем, никто не хотел их приютить, и Солдатику приходилось ночевать под открытым небом. Его измучили дожди и ветры, он заболел гриппом, но зато...

Зато какие сны снились ему по ночам! Такие сны ни на каком другом камне, конечно, не приснятся!

Однажды, уже совсем больным, подошел Солдатик к домику Цикады. Он больше не решался проситься на ночлег, а устроился неподалеку, чтоб переночевать хоть вблизи жилья, если внутри не пускают.

Оставил Солдатик свой камень и пошел пособирать чего-нибудь на ужин. Вернулся, смотрит - Цикада возле его камня стоит, разглядывает. Поздоровался Солдатик, а Цикада спрашивает:

- Это ваш камень?

Подумал Солдатик, что сейчас его опять гнать будут.

- Вы не беспокойтесь, - говорит. - Я только немного передохну и дальше пойду. Я вам здесь не помешаю.

- Какой чудесный камень! - продолжает Цикада, не слушая его. - Это, должно быть, счастливый камень. И какие сны приснятся, если его положить под голову...

- Ладно, не смейтесь, - прервал ее Солдатик. - Я могу и сейчас уйти. До свиданья, всего хорошего.



- Пойдите, не уходите, - мягко сказала Цикада. - Я ведь не смею. Я действительно никогда в жизни не видела такого камня.

- Не видели? - Солдатик так обрадовался, что больше ничего не смог сказать.

- Что же мы здесь стоим? - спохватилась Цикада. - Пойдемте в дом. И камень берите - как бы его не утащили ночью.

Допоздна просидели они в этот вечер. Оказалось, что им многое нужно было друг другу сказать. А когда ложились спать. Солдатик уступил Цикаде свой камень: пусть, мол, и ей приснится хороший сон.

Чуть свет Солдатик заторопился в дорогу.

- Оставайтесь, - просила Цикада. - Места хватит, да и лучше как-то вдвоем...

- Прощайте, - сказал Солдатик, - спасибо за доброту. А на память обо мне оставьте себе этот камень...

- Нет, что вы, что вы! - запротестовала Цикада. - Такого подарка я не могу принять!

- Ничего, возьмите его, - успокоил ее Солдатик. - Я себе другой камень найду. На свете много счастливых камней, стоит только поискать хорошенько.

И пошел он дальше бодрим солдатским шагом, командуя сам себе:

- Левою переднею! Правою переднею! Левою среднею!.. Правою заднею!.. Раз, два, три, четыре, пять, шесть!

#### ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА

Жил-был добрый волшебник. Он мог превращать песок в сахар, а простую воду в молоко, но он ничего этого не делал, так как был убежден, что чудес на земле не бывает.

Пошел он однажды на край света. Пришел, свесил ноги через край и сидит, смотрит вниз - на звезды и луну, на разные планеты.

Вдруг добрый волшебник почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит. Он скосил глаза и увидел петуха, который пристроился на самом краю и преспокойно клевал звезды.

- Что ты делаешь! - забеспокоился добрый волшебник. - Ведь так мы останемся без звезд.

Петух перестал клевать.

- И правда, - сказал он, - мне это как-то не пришло в голову. Но согласитесь - здесь же больше нечего клевать.

- А зачем ты забрел на край света? - спросил добрый волшебник.

- У меня просто не было другого выхода, - сказал Петух. - Так сложилась жизнь - ничего не поделаешь.

Доброму волшебнику захотелось узнать, как складывается жизнь у петухов, и петух охотно ему рассказал.



Оказывается, он вовсе не был петухом. Он был таким же человеком, как добрый волшебник, только помоложе. Петух даже уверял, что у него была жена, очень красивая женщина, которую он любил больше всего на свете. Он так любил свою жену, что друзья стали над ним посмеиваться.

- И вот один из них, - сказал Петух, - колдун по образованию, превратил меня в петуха... И теперь мне нравятся все курицы... - Петух опустил глаза. - Вот поэтому я сбежал на край света.

- Если бы меня кто-нибудь расколдовал, - закончил Петух. - Я мог бы вернуться к своей жене и опять жить по-человечески...

- Да, если бы, - вздохнул волшебник. - Но чудес не бывает.

Так они сидели на самом краю света и говорили о жизни. Потом волшебник спохватился:

- Однако, что же мы здесь сидим? Надо идти устроиться где-нибудь на ночь.

Они шли по краю света, как по берегу большой реки. То и дело Петух окликал волшебника:

- Посмотрите, какая хорошенькая курочка! - и тут же начинал себя ругать: - Ах, какой я все-таки... Бессовестный, непутевый...

Поздно вечером набрели на берлогу медведя.

- Заходите, - пригласил Медведь, - хотя угощать у меня особенно нечем. На краю света с продуктами - сами понимаете...

- А как ты попал на край света? - спросил добрый волшебник.

- Можно и рассказать, - сказал Медведь, усаживая гостей. - Это целая история.

- Дело в том, что я не медведь, а петух, - сказал Медведь. - Я пел и зарабатывал довольно неплохо. Было у меня вволю и пшеницы, и овса, и кукурузы... Это так чудесно - быть петухом, - вздохнул Медведь и посмотрел на Петуха, ища сочувствия. - Если бы не мед, я бы и сейчас жил, горя не зная...

- Какой мед? - спросил волшебник. - Ты же говорил о зерне.

- Да, зерна у меня хватало. Но мне захотелось меда. Я много слышал о нем, и, понимаете... мы же никогда не довольны тем, что имеем... И вот однажды, когда стемнело, я забрался на псеку...

Медведь замолчал. Ему было совестно рассказывать о том, что произошло дальше. Но раз уж начал - надо досказать.

- Осторожно, чтобы не разбудить пчел, я залез в улей и стал пробовать мед. Он оказался совсем не вкусным, но я столько о нем слышался, что уже не мог остановиться. Я уплетал мед за обе щеки и уже подумывал, как бы утащить с собой улей, но вдруг почувствовал, что со мной что-то происходит.

Медведь отвернулся и стал сморкаться в тряпочку.

- Можете себе представить, - продолжал он. - Перья и крылья мои куда-то исчезли, а вместо них появилась шерсть и вот эти лапы. И самое главное - я потерял голос. Вот послушайте.



Медведь заревел так, что все вокруг содрогнулось.

- Нет, ничего, голос как будто есть, - робко заметил волшебник, но Медведь только лапой махнул:

- Э, разве это голос! Вот прежде было...

Медведь попробовал показать, что у него было прежде, но опять заревел и смутился:

- Нет, не получается. Эх, если б мне опять петухом стать!

- Ничего не поделаешь, - вздохнул добрый волшебник. - Чудес не бывает.

- Привет честной компании, - послышалось сверху, и в берлогу заглянул человек.

- Ты кто? - покосился на него Медведь. - Часом, не охотник?

- Да нет, какой из меня охотник, - сказал Человек. - Я и не человек вовсе. Медведем родился, медведем и состарился. Да вот на старости лет захотелось стать человеком. Человеку, думал, легче, человеку и пенсию дают. Только вижу теперь - ох, нелегкое это дело быть человеком! Вот и хожу, ищу - кто бы меня опять в медведя переколдовал.

Волшебник покачал головой:

- Чудес не бывает...

Сидят они в медвежьей берлоге, а настроение у всех - ой, не веселое!

- Эх, кабы мне быть человеком! - сокрушается Петух.

- Кабы мне быть петухом! - вторит ему Медведь.

- Кабы мне быть медведем! - вздыхает Человек.

Надоело это все доброму волшебнику, не выдержал он и крикнул:

- А, да будьте вы все кем кто хочет!

И тотчас же стали все, кем кто хотел, потому что пожелал, этого не кто-нибудь, а волшебник.

Петух стал человеком.

Медведь - петухом.

Человек - медведем.

Посмотрел волшебник - сидят в берлоге петух, медведь и человек - и вздохнул:

- Я же говорил, что чудес не бывает!

Но компания и та, и словно уже не та. Ободрились все, повеселели.

Петух песни поет.





Медведь лапу сосет, другой лапой закусывает.

А человек - просто так сидит, улыбается.

"Что с ними произошло? - удивляется волшебник. - Неужто и вправду случилось чудо?"

Но недолго ему пришлось так раздумывать. Вот уже и петух перестал петь, и медведь оставил свою лапу, и человек улыбаться перестал.

- Эх, - вздохнул петух, - благое дело быть медведем. Залезть в берлогу, лапу сосать...

- Нет, - возразил ему медведь, - человеком все-таки, лучше...

А человек ничего не сказал. Он посмотрел на петуха и задумался.

"А мне уж казалось, чудо произошло, - подумал волшебник, глядя на эту компанию. - Нет, что там ни говори, а чудес на земле не бывает!"

НАШ СПУТНИК

- Бип... бип... бип...

В мире произошло нечто необычное: Земля, миллионы лет остававшаяся бездетной, обзавелась маленьким сынишкой. Он был совсем крохотный, но его уже называли, как взрослого: "Спутник Земли".

Люди радовались и гордились: это они подарили Земле спутника. Не будь их, людей, неизвестно, сколько бы еще продолжалась ее скучная, одинокая жизнь.

А теперь:

- Бип... бип... бип...

Земле сразу стало веселее.

...Спутник летал над Землей, и люди самых разных континентов впервые почувствовали себя земляками. Перед ними раскрылись более широкие горизонты, и теперь, в масштабах вселенной, их Земля показалась им особенно родной и особенно заслуживающей счастья.

И только в старом чулане, в котором доживали свой век старые, никому не нужные вещи, весть о маленьком Спутнике была воспринята иначе.

Патефонная Игла, принеся эту весть в чулан, из-за своей тупости не могла, конечно, правильно разобраться в событиях.

- Вы подумайте, - жаловалась она, - люди совсем с ума посходили! Я им играла такое чудесное танго, - и вдруг... вбегает мужчина и кричит: "Тихо! Выключите радиолу! Слушайте!" Меня, понятно, снимают с пластинки, и из соседней комнаты раздаются звуки: "Бип... бип... бип..." Больше ничего. Только "Бип... бип... бип..." И что вы думаете? Люди слушают это, как самую лучшую музыку. А потом начинают говорить о каком-то Спутнике.

И Патефонная Игла рассказала своим новым друзьям все, что ей удалось узнать о маленьком Спутнике Земли.



- Я не понимаю людей, - заметила Большая Стрелка Ходиков. - Вы говорите, этот Спутник делает полный оборот за час тридцать пять минут? Я в свое время делала полный оборот за час, даже меньше, и никто этому особенно не радовался.

Стрелка была права: она делала полный оборот за сорок пять минут - и даже слова доброго не услышала.

- А размеры! - проскрипел старый Топчан. - Каких-то полметра в диаметре! Я, при моем росте, лежу здесь, а он... Нет, определенно у него где-то рука!

- Вам что - тоже хочется летать? - вмешался в разговор рваный Футбольный Мяч. - Уверю вас, в этом нет ничего особенного. Поверьте мне, я-то уж достаточно налетался в своей жизни.

- Вы летали? - заинтересовалась Лохань. - Расскажите, ах, это так интересно!

И Мяч рассказал:

- Да, в молодости я летал - э, куда там вашему Спутнику...

Пока рваный Футбольный Мяч вспоминал молодость, маленький Спутник продолжал свой путь. Он уверенно рассекал пространство, весело, молодо выкрикивал:

- Бип... бип... бип...

Он летел над городами и селами, над океанами и морями, а с далекой родной Земли за ним следили добрые взгляды, и голоса друзей заглушали шепотки, ползущие из старых чуланов.